

ИРИНА
МУРАВЬЕВА

ЛЯЛЯ, НАТАША, ТОМА



Высокая проза

Эта проза странная. Издатели пытаются ее утконос в жанр «женской прозы», а жанр для нее маловат, трещит по швам. Слишком живое, слишком настоящее.

Михаил Шишкин

Ирина Муравьева — самый, по-моему, интересный русский зарубежный прозаик новейшего времени. Безупречная память, тонкий слух, высокопрофессиональная наблюдательность и дар сострадания — что еще нужно хорошему писателю? Всем этим обладает Муравьева. Бог ей в помощь.

Александр Кабаков

Ирина Муравьева
Ляля, Наташа, Тома (сборник)

«ЭКСМО»

2009

Муравьева И. Л.

Ляля, Наташа, Тома (сборник) / И. Л. Муравьева — «Эксмо», 2009

Сборник повестей и рассказов Ирины Муравьевой включает как уже известные читателям, так и новые произведения, в том числе – «Медвежий букварь», о котором журнал «Новый мир» отозвался как о тексте, в котором представлена «гениальная работа с языком». Рассказ «На краю» также был удостоен высокой оценки: он был включен в сборник 26 лучших произведений женщин-писателей мира. Автор не боится обращаться к самым потаенным и темным сторонам человеческой души – куда мы сами чаще всего предпочитаем не заглядывать. Но предельно честный взгляд на мир – визитная карточка писательницы – неожиданно выхватывает островки любви там, где, казалось бы, их быть не может: за тюремной решеткой, в полном страданий доме алкоголика, даже в звериной душе циркового медведя.

© Муравьева И. Л., 2009

© Эксмо, 2009

Содержание

Повести	5
ЛЯЛЯ, НАТАША, ТОМА	5
МЕДВЕЖИЙ БУКВАРЬ	27
Конец ознакомительного фрагмента.	35

Ирина Муравьева

Ляля, Наташа, Тома

(повести и рассказы)

Повести

ЛЯЛЯ, НАТАША, ТОМА

На эту фотографию я наткнулась почти случайно. Вообще, когда мы проходили таможенную, я больше всего боялась, что тот белесый, с усиками, не даст мне провезти фотографии. Оставляла людей. Увозила лица. Оставляла могилы, увозила живых, замеревших в потускневших изображениях: на крыльце с собакой, среди именных бутылок, под пляжным тентом, в съехавшей соломенной шляпе, с детьми на руках и детьми на коленях...

Бабулина, маленькая, с успокаивающим взглядом, была у меня в кармане. Но белесый и альбом пропустил. Вытащил почему-то кончиком перочинного ножа мою детскую – худая, с выпирающими ребрами девочка на огромном коктейльном камне. Профиль с бантом, обращенный в небо, а там, где волны, чернильным карандашом: «Мичтаю о щастье». На эту фотографию он почему-то смотрел неоправданно долго, подозрительно. Потом аккуратно вставил обратно и альбом захлопнул. На лице мелькнуло: «Эх, была не была!»

Итак, я все это вывезла, всю гляцевую грудку, и эту карточку... Господи, она совсем стерлась, но я понимаю, что на ней терраса нашей дачи, тогда еще не застекленная, и все это давным-давно, до моего рождения, но кушетку, похожую на таксу, я помню, а вот соломенный стол – нет, не помню, наверное, выкинули потом или подарили, а на незастекленной террасе они втроем: на кушетке мама и Ляля, а за соломенным столом – Наташа. На головах – венки из ромашек. И у моей мамы, обхватившей Лялю правой рукой, левая – на кошачьей голове, ибо кошка спит на ее коленях (знаю, что была до моего рождения розовая кошка Роза!), у моей мамы лицо грустное, как всегда на всех фотографиях, словно специально для того, чтобы я, ее почти не заставшая, ощущала, что ей всегда было грустно. Да, так и застыло: правая рука на Лялиной шее, левая – на розовой шерсти. На голове – венок из ромашек. Сбоку сирень, свешивающая темную зелень прямо на кушетку, на Лялины плечи, на мамину руку, на кошачью голову. А меня еще не было.

Война кончилась, они учились в институтах. Все в разных, но дружны были по-прежнему, как в детстве. Ах, конечно, жизнь все перемешивает, дворники роднятся с князьями, и все это прекрасно, но так случилось, что эти три девочки были из «бывших», и их тонкокожие хрупкие жизни чувствовали бессознательную опасность. Они знали, например, отчего Томина мама всю ночь соскабливала с синих тарелок золотую строчку «За веру, Царя и Отечество», когда забрали мужа рыжеволосой голубоглазой Ольги, которую за красоту звали Светиком, и знали они, отчего Наташин отец пил, пропадал на скачках и, наигрывая на гитаре цыганские романсы, говорил своей цыганке-жене, которую когда-то, в лучшие времена, выкрал из табора:

– Что сердишься, душа? Как деда мои жили, так и я живу, а на них, – тут он делал не совсем приличный выразительный жест, – ... хотел!

Она в ответ только ту же заворачивалась в полустертую шаль и молчала, медленно затягиваясь длинной папиросой.

А Ляля, жившая в подвале с матерью, сестрой и двумя старыми девами тетками, вообще стеснялась на свете неоправданно многого: своей французской фамилии, картавого «р», тетки-

ного пенсне, бедности, пасхальных праздников, которые, на бедность невзирая, мать ее справляла со старинной обильностью и приходивших девочек одаривала причудливо раскрашенными яйцами и вышитыми салфетками с голубками и незабудками. И был им знаком еще один, совершенно особый страх, изредка выражаемый еле произносимыми буквами «НКВД», серый и гнетущий, похожий на серое здание на Лубянке с остробородым жилистым памятником в длинной шинели.

Только Наташе и Ляле Тома могла сгоряча проболтаться, что отец никогда не называет Ленина иначе как сифилитиком, и сказала она это смутившись, шепотом, когда они втроем шли по Смоленской, возвращаясь домой в свои заваленные снегом переулки – Неопалимовский и Первый Тружеников, – шли быстро, насквозь промерзшие в тонких ботинках и вязаных платках. Им было почти семнадцать, кончалась последняя школьная зима сорок пятого года, и они только что отстояли длинную нелегкую очередь в Мавзолей, где он и лежал в гробу, под стеклом – весь сморщенный, желтый, как старый лимон. Сифилитик.

Через несколько месяцев, в прозрачный июльский день, они как-то особенно долго и радостно гуляли по лесу, купались в заросшем кувшинками маслянисто-черном лесном озере и неожиданно набрали на целое поле ромашек. Нарвали три огромные охапки, сплели венки, украсились ими и, вернувшись на дачу, застали там долговязого пожилого соседа со странным для мужчины именем Лёля, давно, глупо и безнадежно влюбленного в Тому, который тут же и сфотографировал их на не застекленной еще террасе. А потом Наташа, в которой часто просыпалась ее цыганская кровь, воскликнула, глядя на веселые златоглазые ромашки:

– Ну, что? И куда их девать, эту гору? Поехали продадим!

И Тома радостно подхватила, а Ляля, как всегда, покраснела и согласилась. На привокзальном пятачке их ромашки расхватили неожиданно быстро, и только у Ляли еще оставались три букетика, когда он подошел – грузный, широкоплечий, в расстегнутой белой рубашке. Опираясь на костыли, он остановился перед ними, задержался глазами на длинноглазой, чернобровый Наташе – первой красавице всегда и везде: в школе, на улице, в музыкальном училище, – потом перевел их на кудрявую, огненно вспыхнувшую Лялю и сказал, лаская ее своим прищуренным властным взглядом:

– Почем цветочки?

Чувствуя, как раскаленная кровь заливает ее грудь, спину и плечи, опущенными глазами видя только его подшитую пустую штанину, она ответила вдруг охрипшим, не своим голосом:

– Рубль.

– Ну, давай два, чтоб никому не обидно, а то тебе тут стоять да стоять, погулять не успеем, – пророкотал он и дотронулся до ее руки большой ладонью.

Обратно на дачу они возвращались вдвоем, оставив ее с незнакомым одноногим мужчиной, который насмешливо и успокаивающе помахал им вслед, когда, удивленно оглядываясь, они уходили, а она оставалась.

Они тряслись в электричке, подставив волосы теплему вечернему ветру, электричка с грохотом останавливалась на тускло освещенных дощатых перронах, пахло жасмином, стрекотали ночные цикады, они подставляли лица свистящему в открытое вагонное окно ветру и не понимали еще, что вот оно, начало.

Гранитная лавочка была влажной от недавнего дождя. Сели, и он сразу обхватил ее правой рукой и сжал так крепко, что она испугалась: а вдруг образуются красные пятна? Но промолчала, а он, все крепче и крепче сжимая это тонкое плечико, левой свободной ладонью повернул к себе ее лицо и стал неторопливо разглядывать его, как разглядывают картинку в журнале.

– Значит, Ляля? Это что же – Ольга или Елена? А фамилия почему французская? С Наполеоном в Москву въехала? Да ты расскажи мне, не бойся...

И, понимая, что никакой ее рассказ не нужен ему, она прошептала все-таки несколько бессвязных слов, извиняя свою французскую фамилию, и, не закончив, вздрогнула всем телом, почувствовала прикосновение его пальцев к своей груди, там, где была расстегнута темно-зеленая вязаная кофточка.

– Ты знаешь, она сошла с ума! Просто потеряла рассудок! Она же ему дышать не дает! Встречает у проходной каждый вечер! Каждый! Я уж не говорю, что она его кормит, из дома таскает почему зря! Ирина Августовна все видит и молчит. И Муся молчит. И Полина. Они ведь всегда все молчат. Или плачут. Я ей вчера позвонила почти в двенадцать. Ее не было. Я думаю, она не ночевала дома, она у него была. Я просто чувствую! Ну, Томка, ну, что ты молчишь?

– Я не молчу. Она не ночевала дома, я знаю. Она в три часа ночи пришла к нам. Пешком. С Шаболовки. Он ее выгнал.

– Что-о-о?

– Да господи, выгнал, и все! Он пьян был. Совсем. У него было отвратительное настроение. Он сказал, что она ему больше не нужна. И она рыдала, как... Я тебе передать не могу, это какой-то кошмар! Ввалилась к нам ночью, распухла, дрожит, сказала, что он ее выгнал, а ей без него – только в пруд. Да, в пруд. Или в речку. И мама ей говорит: «Да он же ведь зверь, пьяный зверь! Что ты в нем нашла?» А она, как Жанна д'Арк: «Я этого слышать не хочу! Вы не должны так говорить!» Ты же помнишь, как она летом самовар одна на спор выпила? Чуть не лопнула! Вот и сейчас: лопнет, а никого не послушает!

– Ты думаешь, он не женится на ней?

– Нет, я-то как раз думаю, что женится. Где он еще такую дуру найдет?

Рядом с кроватью валялись его тяжелые костыли с железными заклепками. Тяжелым сонным взглядом он следил, как она порывисто двигалась по комнате, подбирая разбросанные вещи, смахивая пыль, наливая горячую воду в таз для посуды.

– Канарейку покорми, – сказал он и закурил.

– Канарейку? Сейчас!

И зашебетала, заворковала рядом с круглой железной клеткой, в которой заливалась, не щадя своего звонкого горла, черноглазая канарейка.

– Как ты по ночам, заливается. Только ей-то вроде не с чего, а? – усмехнулся он, разбивая дым ребром ладони.

Она опустилась на колени перед кроватью, светлую кудрявую голову вжала в подушку, задышала знакомым запахом его волос, его папирос, его кожи... Ленивая горячая рука с желтыми от никотина пальцами ущипнула ее за ухо, скользнула в вырез ночной рубашки. Она подняла умоляющее лицо:

– Мама просит, чтобы мы венчались, Коля...

...Остановись, говорю я себе, всё ведь это твое воображение, не больше... Была ли канарейка? Было ли венчание? Ладонями отвожу, как отводят воду, входя в нее, медля, не решаясь, ладонями отвожу вспенившиеся детали: вечернюю церковь на пересечении двух осенних улиц, невесту в платье, сшитом из тюлевой занавески, жениха, слегка хмельного, с орденскими планками на груди, тетку в заплаканном пенсне, в лиловом шарфе, отвожу ладонями. Устала. Белая страница под руками.

...Остановись, говорю я себе. Что же было на самом-то деле? Что я помню?

Снег, как всегда снег – главное действующее лицо всех воспоминаний моих, и я иду все по забеленной до самых липовых бровей Девичке, посреди которой стоит светло-розовый насуспенный Лев Толстой, заложивший огромные каменные руки за пояс, а навстречу мне подпрыгивает пожилая женщина в потертой шубе. Со дня маминой смерти я видела ее раза

четыре, не больше, и теперь ужасаюсь, как она постарела. Я не могу сказать ей «Ляля», но, кажется, не помню ее отчества. Елена?.. Поравнявшись со мной, она ахает, обхватывает меня своими серыми заштопанными варежками (в одной из них что-то звякает: ключи, мелочь?) и, прижавшись лицом к моему воротнику, плачет.

– Сегодня маме приснился странный сон. – Наташа удивленно приподняла брови и продолжала, понизив голос: – В нашем доме ведь на снах все просто помешаны. Отцу все время снится одно и то же: он запарывает лошадь, а потом хоронит ее ночью, один, на самом краю вымершей деревни. Но я не об этом. Мама рассказывает: «Приснилось, что в нашем книжном шкафу живет змея. Небольшая, черная. Глаза какие-то злобные, почти человеческие. И живет она посреди книг, между Аксаковым и энциклопедией...»

Тома засмеялась. В печке хрустели дрова. Из красных и ярких становились сизыми, черными, догорали. Они сидели на диване и грызли сушки. Кошка спала, свернувшись клубочком.

– Да подожди, не смейся. Я сначала тоже смеялась, а теперь вот эта глупость не выходит у меня из головы. Ну вот. Живет змея, которую мы почему-то не кормим. Непонятно почему, если отец даже мышей на кухне готов кормить сахаром, дай ему волю. А эту мы не кормим, и она тает на глазах. И вдруг мама просит, чтобы я дала ей молока. И мы будто бы все ужасаемся, как же это раньше никому не приходило в голову: дать змее молока, подкормить скотинку. И мама протягивает мне молоко и говорит: «Поставь прямо на книгу и сразу уходи». И я подхожу с молоком, и мы обе с мамой видим, как эта змея, еле живая, лежит, придавленная томами, а глаза закрыты. Но только я ставлю перед ней блюдечко, как она распрямляется и бросается на меня с высунутым жалом. В лицо!

– Господи, страсти какие! – Тома опять засмеялась. – И что?

– Тебе все хихоньки... – Но она и сама смеялась, будто, рассказав, преодолела страх. – Ну и все. Мама проснулась в слезах и весь день ходила сама не своя. Вот посмотрите, говорит, это не к добру!

Беда в том, что она была красавицей. А я с детства запомнила: красота до добра не доводит. Из всех слышанных мною рассказов выходило примерно так: она была добра и прекрасна. Иногда бабуля добавляла: «Ну просто Анна Каренина!» А он был или некрасив, или очень ординарен. И вот она любила, а он нет. Другие из-за нее стрелялись, вешались, на коленях ползали, но ей никого не нужно было, кроме этого, который не стрелялся, не ползал, а только мучил. Она плакала, и все, кто любили ее, тоже плакали и упрасивали: «Брось! С ума ты сошла, что ли?» А она отвечала: «Нет, никогда».

Такая вот картина сложилась в моем шестилетнем сознании, так я и рисовала цветными карандашами на шершавой альбомной бумаге: она в необъятно широкой юбке, с золотыми волосами до пят протягивает руки к нему, длинноносому и усатому, во фраке пушкинских времен. Сбоку дерево с зелеными листьями. Наверху солнце с лучами веером. Всё. Картина жизни. Картина любви. Ее, мою альбомную красоту, неизменно звали Наташей, хотя настоящая Наташа была черноволоса, да я ее практически и не видела. Но бабуля, рассказывая мне о ней, всегда добавляла: «Несчастливая, боже ты мой! Но как хороша! Как прелестна! Красавица».

Молодой человек с небольшим шрамом над верхней губой, в дорогой пыжиковой шапке нетерпеливо сбивал перчаткой снег с подножия памятника Чайковскому. Настороженный и готовый улететь со своего мраморного пьедестала Чайковский наматывал на пальцы вскинутых рук печально-прекрасные русские песни и не обращал внимания на суетливого воробья, прыгающего по его промороженной голове.

– Неужели я опять опоздала, Виталий?

Он резко обернулся на этот взволнованный голос. Белый платок, сверкающий от снега. Сверкающий снег на черных волосах. Высокие брови, мокрые ресницы. Да, красавица. Бедна,

как героиня Достоевского. Он прочитал пару этих романов и нашел их приторными. Но семейка из Неопалимовского подошла бы прославленному эпилептику. Колоритная семейка, что говорить! Одна мамаша в полуистлевшей шали чего стоит! Да и папаша недурен. Бархатный барин. Собачник, лошадиник. Ему бы в перезаложённом имени зайцев травить, а он сидит за печкой да водочку тянет. Колечки в ломбарде, баккару побили. И сами – осколочки! Зачем только небо копят? «Расскажите мне, молодой человек, где же вы с моей дочерью познакомились изволили?!» Театр, и только! Так и подмывает подмигнуть: «Я, дядя, с твоей дочерью познакомился в трамвае и теперь с ней...» Эх! Нет, честно говоря, еще нет, подождем малость, пусть привыкает. Цыганская косточка, виноградка черная... Подождем, слаще будет. Но ты так и знай, папаша, я с твоей дочерью спать буду. И вся красота эта снежная – наша. А там поглядим.

И, засмеявшись, сказал, пожимая ее протянутую теплую руку:

– Вас я готов ждать всю жизнь, Наташа.

Отец подливал и подливал из синенького графинчика. Оттопыренный мизинец с длинным полированным ногтем мелко вздрагивал. Наигрывая гаммы, она из полутьмы своей маленькой комнаты слушала родительский разговор. Не разговор, монолог скорее, ибо мать, как всегда, только вставляла свое горланное «а-ах!» в редкие паузы отцовской речи.

– Что мы о нем знаем? Что ты о нем понимаешь, душа? Хлюст, хлюст и хлюст. Так я понимаю. Их человек. Я ноздрями, – и он шумно втягивал воздух, – ноздрями эту породу чую. Бес. Мелкий бес. Не крупный. Что молчишь, душа? Я его взгляды на ней, – звякнул синенький графинчик, – ненавижу. Не-на-ви-жу! Он же ее глазами раздевает! А я присутствую. Разве, ты вспомни, разве я на тебя так смотрел когда? Мне до твоей косы дотронуться было страшно. А эти? Ненавижу! Мы к девкам приходили, и уж не гимназистами, уж ку-у-да-а позднее! А глаза опускали. Ибо совесть была. Стыд. Жгло. А их ничего не берет. Бандиты. Что молчишь, душа? Меня опять ночами кошмары терзать стали. Намедни приснилось, что он у нее пальцы отгрызает. Она играет, к концерту готовится, а он подходит и наклоняется, вроде бы руку поцеловать. И вдруг я вижу – кровь...

Горланное материнское «а-а-ах!».

Бабуля рассказывала так:

– Он увез ее в Германию. Она была уже беременна. Он женился на ней, потому что по его положению полагалась жена. Мы с твоим дедом всегда думали, что он чекист. Она сначала говорила: военный. Посылают в Германию служить. Мы ни разу не видели его в военной форме. Только в штатском. И всегда был прекрасно одет. Выбрит. Все с иголочки. Она пришла к твоей матери и сказала ей, что ждет ребенка. Она его боялась, и ехать с ним боялась, и рожать боялась. Такая красавица! И уехала.

...Итак, она пришла к моей маме. Она постучала кулаком в дверь (звонка не было!), она постучала кулаком по рваному войлоку, и мама открыла ей.

– Тома, – сказала она, – я зачоченела, пока дошла. Март называется! Дай мне чего-нибудь горячего. Чаю. Или просто воды.

На улице было тепло. Снег таял, плавилась сосульки. Зима умирала на глазах, исходила слезами, цеплялась последними колючками за воротники, прощалась. Никому не было дела до нее.

– Как ты могла замерзнуть? Теплынь такая! Я все форточки открыла! Пойдем на кухню, чайник поставим!

На кухне с деревянным крашеным полом и до блеска вымытым фикусом на подоконнике шаркала тапочками Матрена, древняя старуха, жившая прямо напротив уборной в скрюченной комнатухе, увешанной бумажными иконками и уставленной сундуками. В плохую погоду

она дремала у себя на сундуке на куче тряпья, а в хорошую нищенствовала на Ваганьковском. Матрена въедливо посмотрела на них из-под лохматых седых бровей:

– Никак ты, Натулька-красулька? А чевой-то ты пожелтела вся?

Мама стала было резать серый вчерашний хлеб, но Наташа остановила ее руку:

– Тома, я не хочу есть. Ничего мне не давай. Просто чаю выпью. Я не могу есть. Меня тошнит все время.

И тут она рассказала ей все. Я отчетливо слышу, как она рассказала ей все, и про ребенка тоже. А мама прошептала:

– Брось его. Что ты, с ума сошла?

– Как же я его брошу? Я без него дышать не могу. Нет, ты пойми, ведь это не любовь. Я ведь его не люблю. Каждый день думаю: ни за что к телефону не подойду! И подхожу как миленькая. Не хочу его видеть, а бегу. Боже мой! Всё, теперь уже поздно. Его посылают в Германию работать, и я поеду с ним. И там рожу. Здесь-то стыдно: родить через шесть месяцев вместо девяти, правда? Свадьбы никакой. Я не хочу, и он не хочет. Только мы, родители и ты. И сразу уедем. Если бы ты знала, как я его боюсь! А стесняюсь как! И когда он раздевает меня, и когда рассматривает. У него было очень много женщин, я знаю.

– Он тебе говорил?

– Да. Смеясь причем. Он сказал: «Забавно: все бабы в темноте белые, а ты коричневая».

И тогда мама заплакала. Она заплакала не от жалости и не от страха за Наташу, а от того невыносимого напряжения, которое передалось ей, разлившись поначалу вишневой краской по Наташиному лицу, надломив – ровно посередине – высокие ее брови. Мама плакала, а она, с надломленными бровями, стиснув пальцы, сидела неподвижно. Потом прошептала: «Подожди, меня тошнит» – и выскочила. И мама, растерявшись, выскочила за ней и, замерев у двери уборной, услышала, как она давится там, гортанно, как ее цыганка-мать, постанывая: «А-а-ах...»

На столе, покрытом пожелтевшей скатертью, раскинулось небывалое богатство: полупрозрачная огненная семга, черная икра, сыр с длинными аккуратными дырочками, тающий во рту белый хлеб. Отец, как всегда, подливал и подливал из синенького графинчика. Жених казался слегка раздраженным, жадно ел, словно желая, чтобы вся эта им принесенная роскошь ему же и досталась, мать, кутаясь в шаль, расплетала и заплетала кончик неподколотой косы темными пальцами.

– А позвольте мне поинтересоваться, Виталий, – отцовский мизинец с отполированным ногтем сильно дрогнул. – Где такое богатство добывается? Какие такие подземные дворцы его прячут?

– А вам зачем? – Он пережевывал семгу и отреагировал не сразу.

– Мне? Мне-то, конечно, ни к чему. Праздное любопытство. Да ты не тревожься, душа, – прибавил он, поймав брошенный на него знакомый взгляд. – Я ведь мирный вопрос задал. Наимирнейший. Как близкий, так сказать, родственник. Хотелось бы приподнять одну таинственную завесу...

– А нечего приподнимать, – резким движением головы жених ослабил слишком тесный галстук. – Работали люди, воевали. Жизнями рисковали. Ну и пользуются заслуженно. Пока живы. Все ведь, знаете, из мяса да из костей сделаны.

– Ах вот что! – И звякнул синенький графинчик, и быстрее задвигались заплетающие косу темные пальцы. – Рисковали и заслуженно пользуются? А я вот, знаете, по улицам не могу ходить. На обрубки человеческие не могу смотреть. На славных этих, так сказать, героев: летчиков, да морячков, да танкистов, которые теперь на деревяшках милостыню выпрашивают. И ведь подают-то не все. Прямо скажем – немногие подают, обеднели люди. А пуще сердцем

обеднели. Больно страшно жить стали. Я опять-таки обе стороны охватываю: практическую и духовную, так сказать, я...

– Да что вы раскудахтались: я, я, я! Легче всего за печкой сидеть да водку жрать! Обрубки... Построят им инвалидные дома, будут жить-поживать. Не всё сразу. А ходить да вражьем взглядом недостатки высматривать – последнее, скажу вам, дело! И мой вам совет: вы это бросьте! А то ведь, не ровен час, и реснички подрежут!

– Вы, голубчик, – звякнул синенький графинчик, – вы на что же намекаете? На Большой Дом, что ли? Да я уж свое отбоился. Уж, почитай, тридцать лет зубами стучу – сколько можно? Или вы на меня прямо со свадьбы доносить пойдете? Вольному воля! Да не бледней ты, душа! Что он мне сделает? Уж хуже того, что сделал, вряд ли придумает!

Жених встал. Томе показалось, что он взвешивает ситуацию. Кроме него, за пожелтевшей скатертью было четыре человека. Ситуация, в сущности, безопасная.

– Ну, хватит, попиروвали. Заеду за тобой на машине перед самым вокзалом. Чтобы готова была, шофер ждать не может. А с вами, дорогие родственники, прощаюсь сейчас с болью в сердце...

Перекинул через руку светлый плащ, хлопнул дверью. Все молчали. И тогда мать, бросившая свою косу, встала, подошла к неподвижной, пронзительно белой Наташе, прижала ее голову к своему животу и прикрыла ее шалью...

– А вот это, – говорит бабуля и вынимает из папиросной бумаги большую фотографию, – это она прислала нам из Германии. Да пей, пей молоко, а то никогда горло не пройдет! Пей, пока горячее, рада в школу не ходить! Смотри: это Наташа с дочкой. Ей здесь полгода. Анечка. Назвала в честь своей матери.

Одна уехала и родила дочку. Другая была близко, но встречи с ней стали сущим мучением. Она забегала ненадолго, всегда испуганная, с красными пятнами на круглом лице, целовала их всех по очереди: Тому, Томину маму, кошку – и начинала плакать. Самое ужасное – она ничего не рассказывала. Вернее, по рассказам получалось, что все в порядке. Пьет? Да, немного. Меньше, чем раньше. Жалуется на сердце? Нет, больше не жалуется, Полина вылечила его гомеопатией. Любит ли ее? Круглое лицо принимало снисходительное выражение. Очень любит, но какой же мужчина, да еще прошедший войну, скажет об этом? Вот неделю назад умерла канарейка, захлебнулась, с канарейками это бывает, и он плакал. Пил и плакал. Потом, когда бутылка кончилась, сказал: «Поди выброси ее на помойку».

– Ну, а ты?

– Что я! Я говорю: «Колечка, может быть, закопаем?»

– А он?

– Что он? Рукой махнул.

– Тогда что же ты плачешь?

– Разве я плачу? Просто рассказываю...

Тома и огорчалась, и хотела помочь, но сама была при этом непростительно счастлива. Грустно: мы никогда не совпадаем в счастье с теми, кого любим. Мы счастливы в одиночку и так же, в одиночку, несчастны.

– Они так счастливы вместе. Разве вы не знаете, что такое любовь? – ласково говорила моя бабуля тупо глядящему на нее краснощекому участковому.

Участковый зарделся ярче и руки огромные – ковшиком – сжал на коленях. Разговор происходил утром на фоне отмытого до блеска вечнозеленого фикуса. Они сидели на табуретках друг против друга: моя бабуля, остроглазая, грациозная, и молоденький милиционер, пришедший выяснять, на каком основании в доме 4, квартире 4 по Первому Труженикову переулку проживает жилец с фамилией, которую выговорить невозможно: Штапинец? Штанимец? Штанец?

– Да, – говорила моя бабуля, светло улыбаясь и первый раз чувствуя, что представитель страшной власти не так страшен ей, как обычно. – Вы совершенно правы. Выговорить невозможно. Только по складам: Шта-й-н-мец.

– Эж, – крикнул милиционер. – Штан... Чего?

– Не Штан, – любезно поправила бабуля, – а Штай, а потом пауза и – немец. Штай-немец! Ну, попробуйте!

– Штам... – нерешительно сказал участковый, – йец!

– Ну вот! Ну почти! – просияла бабуля. – Да это и неважно, правда? Так вы согласны со мной? Любовь, понимаете? И хотят быть вместе. Так что же им делать?

– Мы ведь почему беспокоим, – доверительно пробасил милиционер. – Потому как беспорядок намечается. Вместе-вместе, а паспорта врозь. Когда кого любишь, у того и прописывайся, правильно говорю?

– Ну, еще бы! – обрадовалась бабуля. – Еще бы! Кто спорит? Да он и пропишется. Сначала они распишутся, а потом он пропишется. Ведь такой порядок-то?

– Да как же вы его к себе нерасписанного взяли? – ахнул милиционер. – Да моя матка так бы погнала нерасписанного, кабы к сеструхе кто прилепился! А вы ласкаете... А ну как он завтра слизнет?

– Не слизнет, – прошептала бабуля и оглянулась на хмурую Матрену, подбоченившуюся в дверях уборной и смахивающую на растрепанную Бабу-ягу. – Этот не слизнет. Любовь, понимаете?

Нерешительно потоптавшись, участковый дал две недели сроку и ушел. Тут Матрена не выдержала.

– Последние мозги потеряла! – гаркнула она и ударила клюкой об пол. Фикус вздрогнул. – Я тебе прямо скажу, я не Катька-стерва, вилок серебряных у тебя не крада! Я тебе, Лизавета, как на духу говорю, обрыдло мне на это глядеть! Девка – лебедь, и чтоб за яврея иттить! Да, мать его в качель, за женатика! К ним, к поганым, нешто в душу влезешь! Понапились христьянской кровушки!

Не успела, не успела – через тридцать пять лет слышу! – не успела моя бабуля достойно ответить Матрене, потому что тут-то он и появился на кухне – кудрявый мускулистый «женатик» с отчетливо выраженным семитским лицом, стесняющийся и голубоглазый. Он вышел умыться и долго плескался под ледяной водой, и кудрявую темно-русую голову окатил заодно, и весь свежешкошенный пол с разлапистой фикусной тенью обрызгал.

– Тьфу на вас! – плюнула Матрена и скрылась к своим сундукам и бумажным иконкам.

А солнце возликовало окончательно и принялось сжигать своим августовским огнем синий эмалированный таз на табуретке, и растрепанный веник под раковиной, и маленькие бабулины руки, подтирающие пол...

«Всех спровадили! – сказала она самой себе и засмеялась. – И Емелю в погонах, и нашу ведьмулю...»

...Здесь, в Новой Англии, осень прекрасна.

Я иду и смотрю под ноги. Иду медленно, усталая, раздраженная, с работы. И вдруг, взглянув на противоположную сторону улицы, останавливаюсь. Стою и смотрю. По противоположной стороне идут мой отец и мой сын. Они явно торопятся и на ходу ведут оживленный разговор. Сын от возбуждения (а разговор, скорее всего, самый примитивный: о машинах!) забегаet вперед и заглядывает деду в лицо. У них одинаковые походки, они одинаково двигают на ходу руками. И как это всё называют? Наследственность?

И тогда, тридцать пять лет назад, тоже была осень. Медленно догорающим, как полено в печи, вечером они ехали на дачу, и, омытые лиственным золотом, сверкали за окном деревья,

и торговали жареными семечками на дощатых платформах, и врывалась в паровозный гудок взвизгивающая гармошка, растягиваясь вместе с ним в красном воздухе тревожным и сизым дымком. Народу в вагоне было немного. Вдруг она увидела, как он бледнеет. Он бледнел и зажимал ладонями верх живота – солнечное сплетение.

– Что ты? Что с тобой?

– Мне больно. Вот тут. О-о-о!

Он скорчился на лавке, и крупные капли пота выступили на его лбу под тщательно причесанными темно-русскими волосами.

– Но только не бойся. Сейчас всё пройдет. Сейчас будет проходить.

Акцент его стал особенно заметен, и прямо на ее глазах он превратился в того испуганного еврейского подростка, которым она видела его на полустертом снимке с карандашной надписью по-немецки: «Седьмая гимназия на улице императора Вильгельма. 6 класс».

– Легче тебе? Легче? – всхлипывала она, вцепившись руками в его судорожно сведенные колени.

– Легче, да. Не надо волноваться. Видишь, почти прошло. Я тебе не говорил. Это всё началось два месяца назад, когда он запрещал мне видеться с мальчиком. Я ходил по Ульяновской, и мальчик смотрел на меня из окна. Я уходил. Мне надо было идти к нему обратно, но я не мог. Я уходил к нам домой, к тебе. И он смотрел мне вслед. И когда я ехал на троллейбусе, это началось. Так всё вдруг светло! Чуть доехал. И потом второй раз, помнишь, когда мальчика забрали со скарлатиной? Она позвонила и сказала, что я могу проводить его. Я побежал. И я не успел. Они уже уехали. Я примчался на такси в эту больницу – как ее? – на Серпуховке. Они еще были в приемной. И мальчик бросился ко мне. Он весь дрожал. В ужасной рубашке. И здесь вот клеймо. Дед внушил ему, что я сволочь. Я сволочь, потому что не могу жить с его матерью. А я не сволочь! Не сволочь!

Он произносил это слово с еще большим акцентом, чем все остальное, и с помощью этого грубого слова (а грубость в чужом языке всегда чувствуется меньше!) настаивал на своей смутной правоте.

– Я не встречал деда в больнице. Он был в синагоге. Так она сказала. Он бы не дал ей позвать меня. А мальчик дрожал. И весь так прижался ко мне. И эта женщина – как ты их называешь? – нянечка, отобрала его и увела. И он вырвался и опять бросился ко мне. И я его опять обнял. И его опять увели. Он кричал: «Папочка!» Я отвез ее на такси домой, и, когда шел обратно, эта боль опять началась. И вот опять. Я звонил туда сегодня. Они положили трубку. Но я хочу видеть ребенка! Тома! Это такая сволочь – боль!

Она гладила его мокрый лоб, бормотала:

– Потерпи, сейчас. Сейчас пройдет. Еще немножко. Это нервы. Давай выйдем в Мытищах. Это просто нервы, не бойся.

Желтоглазая старуха с котомкой приостановилась в проходе:

– Парень! Никак родить собрался? Ишь закрутило-то! В больницу ведь надоть!

В Мытищах он, закрыв глаза, глотал горьковатый от паровозного дыма осенний воздух и повторял, сжимая ее пальцы:

– Я не сволочь, не сволочь, не сволочь...

Раскаленный шар катился по хрустящему снегу Первого Труженикова. Раскаленным шаром была жизнь, перемалывающая, переплавляющая, расплющивающая глаза, слова, руки, губы, правоту и вину, восхождения и провалы – всё, из чего складывались в ней дни, часы и минуты, всё, что составляло ее огнистую обжигающую плоть, ее абрикосовую мякоть, прыгающую по выпавшему ночью снегу Первого Труженикова.

Там, где эта плоть кровоточила, были полные ужаса глаза его ребенка в длинной, до пят, ночной рубашке с клеймом посередине, его крик, разлитый чернильным пятном по белому, пахнущему хлоркой больничному коридору: «Папочка!» Там был сухой, пылью забивающий

дыхание голос его бывшего тестя: «Он вам не нужен. Не приходите сюда больше». Там, где кровоточило, был наскоро собранный чемодан и уход. А там, где она, эта плоть, становилась спелой абрикосовой мякотью, где она сладко растекалась по нёбу, по горлу и глубже, глубже, пока не обжигала все нутро одним не вмещающимся в тело, пульсирующим счастьем, там был ласковый голос по утрам, и теплые каштановые пряди на его плече, и теплые плечи с розовыми шелковыми бретельками, и эти шутки, и взрывы задыхающегося смеха за вечерним чаем под мирным светом оранжевого абажура...

Иногда он наивно удивлялся, что в доме под оранжевым абажуром над жизнью все время подшучивают.

– В кухню не ходите, там профессор сел лекцию читать, – говорил ее отец, шурясь и еле заметно усмехаясь в усы.

Это значило, что татарского происхождения дворник Сашка, живший в смежной с Матрениной комнате вместе со своей богатырского роста ревнивой женою Катюшей, за брак с которой его прокляла вспылчивая восточная родня, опять сел парить ноги и читать ежевечернюю «Правду».

– Подлей, Катюш, еще, – задумчиво говорил маленький, багровый от жара Сашка, перебирая распаренными ногами в ведре с кипятком. – Холодеет, сука, быстро. Никак тепла не наберу. Ну, слушай дальше про пленум.

Дальше начиналось монотонное чтение по складам:

– Пос-та-нов-ле-ни... поста-нов-ле-ние па... постановление пар... ти... постановление пар-тии, подлей еще, Катюш, не жидись, поста-новле-ние партии о на-ру-ши-те-лях...

– Ирод, – любовно бормотала Катюша. – В лютом кипятку сидишь, да газеты читаешь! Глаза-то попортишь! С пару ничего не видать! Ай оглох?

Медленно шел снег, и, распаренные не хуже Сашки, они поднимались в гору из кирпичной сплюсненной баньки к себе, на Первый Тружеников.

– Ты думаешь, я случайно просидел всю жизнь в этой дыре? С женой и дочкой? Ни разу не заикнулся о квартире, ничего не попросил? Не завел ни одной новой дружбы? Не выпил больше двух рюмок в чужой компании? Я боялся их и боюсь. Но на себя-то, в сущности, наплевать, судьбы конем не объедешь, а Лизу с Томкой надо было спасать. Я и спас, судя по всему. Ломал себе голову: как? что? куда деваться? И придумал. Залез сюда, в эту нору, как в варежку, ни разу наружу носа не высунул! Кому я нужен? Скромный юрисконсульт. Маленький чиновник. Акакий Акакиевич... Вот так. Мало ли чего мне там хотелось! Что толку сейчас вспоминать? А сколько моих полетело! Жить хотели, на свет их тянуло! А на свету... Головы, как спелые яблоки, сыпались. Мне по ночам прежде снилось, что за мной пришли. Даже не то чтобы снилось, а так, знаешь, мираж какой-то. Галлюцинация. Видел, как меня уводят. И я ухожу, но в дверях оглядываюсь. И у печки стоит Томка, лет так тринадцати, в спортивных трусах и майке. И я понимаю, что вот это – всё. Что этого не пережить. Часто так галлюцинировал. Боялся иногда спать ложиться, свет гасить. Как ты понимаешь, болезнь, но ведь с такими симптомами ни к одному врачу не пойдешь. Потом как-то само прошло. Что говорить... Единственное, что себе позволил, – дачу. Продал Лизино изумрудное кольцо и выстроил дом. Ну пойми: не мог устоять. Очень хотелось. Все, что они у меня отобрали, я взял и вернул. Схитрил только малость. Не имение, так домик с садом. Не беседка с мавзолеем, так лавка с жасмином. А лес – всюду лес, и поле – всё поле. Я после этой норы, где Сашка вечерами потные ноги парит, еду к себе домой. Там вишни. Крапива. Там птички на ветках. Вот родит Томка дочку, и я буду с ней по лесу гулять. Грибы собирать. Красотища!

И худощавой рукой провел по древесному стволу, сверкнувшему белыми искрами.

Ночью она его разбудила:

– Прости, пожалуйста, никогда не буду тебя тревожить. Последний раз. Я не умру? Мне вдруг так страшно стало. Умру, и ты останешься с маленькой девочкой. Один. И тебе придется жить без меня. Матрена будет на нее клюкой стучать.

Она смеялась, но щеки и грудь были мокры от слез.

– Что ты глупости говоришь?!

За стенкой стонуща храпела Катя. По потолку плавно прокатился свет от машинных фар.

– Нет, не глупости, не сердись. Я знаю, что это случится. Меня нет, и ты один, с маленькой девочкой...

– Посиди, – говорит мне папа и расстилает на маленькой, припорошенной снегом скамеечке свой полосатый шарф. – Я наберу воды, и мы эти цветы поставим. Тогда они будут стоять дольше. Дня четыре не завянут.

– Папа, – спрашиваю я, внимательно разглядывая розоватый камень с тонкой золотой надписью. – Папа, а она – где? Она видит нас? И эти цветы тоже видит? И то, что я тут сижу?

– Да, – произносит он твердо. – Да, она все видит. Все видит и знает.

– Но как? – удивляюсь я. – Как? Где же она?

– Она же наш ангел. Ты ведь знаешь, что это такое? Так вот. У нас с тобой ангел – она.

Я не все понимаю в его словах, но принимаю, как и многое другое, на веру. И пока он набирает из колонки воды в мутно-желтую большую банку, а потом протирает мокрой тряпкой памятник, я смотрю на небо, вижу его прохладную голубизну, вижу его слабое, подтаявшее по краям облачко...

– Ну пойдем, – говорит папа. – А то ты замерзла. – Он обматывает шею полосатым шарфом и, пропустив меня в низенькую железную калитку, наклоняется, целует этот холодный розовый камень и медленно проводит по нему ладонью, прощаясь.

По пятницам Матрена пекла блины. Чаще всего они подгорали, и в кухне было дымно, не продохнуть.

– Да поешь, поешь, пока горяченький! – пела Матрена. – Ишь пузырится! Сама не хошь, так ребяточка свою покорми. Када рожать-то? Вот родишь, так мы яво, кудрявого твою, поглядим! Как ребяточка народится да как начнеть по ночам пищать, тут из них, из мужиков, вся поганая порода наружу вылазит! Вот тада мы поглядим, как он тебя любить...

В дверь застучали. Заколотили. Неистово.

– Кого нечистая несеть? Никак опять татарва надрамшись? – изумилась Матрена и, шмыгая носом, пошла открывать.

Сначала в образовавшуюся щель просунулся угол ободранного черного чемодана, а потом над ним запрыгало круглое, распухшее от слез лицо.

– Томочка! Он меня выгнал! По-настоящему. Томочка!

Ляля опустилась на табуретку прямо посреди этого кухонного дыма и чада и зарыдала так, что даже Матрена всплеснула руками.

– Ради бога, пойдем в комнату! Да не кричи ты так! Лялька, я сейчас к нему поеду! Да не кричи ты! Ну, он тебя сто раз выгонял! Да успокойся ты! Подожди, я хоть валерьянку найду! Господи, вот и мама пришла! Побудь с ней, видишь, что творится? А я на Шаболовку и обратно!

Накинула вязаный жакет, уже не застегивающийся на животе, вылетела, задыхаясь.

Он встретил ее, непохожий на себя. Спокойный и трезвый.

– Зачем прибежала, Тамара? Гляди: еле дышишь. Что скажешь?

– Коля, ты ведь хороший человек! Я всегда чувствовала, что ты хороший! Что у вас случилось?

– Ну что я тебе расскажу? Зачем было с пузом ко мне прибегать? Еще б родила по дороге, вот смех-то! Вот ты мне поёшь: «Коль, ты хороший!» А я? Какой я хороший? Ну, ем я. Ну, водку лакаю. Ну, сплю. Ну, баб своих лапаю, чтоб не обидно. Чего ж тут хорошего? Что говорить?

– Миленький, ну пожалей ее!

– Да я не могу, ее, Тома, жалеть! Мне трудно с ней стало, хорошая слишком! Ну что? Ну, ошибся! Словил себе канареечку, принес домой: живи со мной, милая, песенки пой мне! Она ж щебетунья, она ж ручеечек! А ласки в ней, Томка! До слез иногда. А только нельзя, дальше хуже. Детишек ей надо, гостей там, подруг. А мне что? Бутылку да к ней огурец, вот и всё. Хорошая парочка, а? Что молчишь-то? Топлю ведь ее. Она у меня пузыри тут пускает, во как! «Я, Коля, стерплю! Мне с тобой хорошо». Чего «хорошо»? Я, Тамара, не зверь. Пока совесть есть, я решение принял.

Она медленно спускалась по лестнице и думала: «Как же я передам ей все это?»

Рябина горела красной кистью. Да, горела. И листья падали. Я родилась двадцать первого сентября. Утром в деревянном доме напротив был пожар. Из окон вырывалось пламя. Шипела вода. А я хотела, чтобы этот мир принял меня, впустил, и болью, похлеще любого огня, трясла материнское тело. Через неделю меня приняла теплая комната в доме 4, квартире 4 по Первому Труженикову переулку, и суетливые мои тетки, дедовы племянницы, кричали папе:

– Не клади, не клади ее на одеяло! На мех надо! Чтоб была счастливой! Чтоб была здоровой! Чтоб была богатой!

Прыгающими от страха руками он положил меня на вытертую котиковую шубу...

– Пей, пей молоко! Пей, пока горячее! Наказанье мое! Хочешь, я почитаю тебе «Онегина»? А что ты хочешь? Опять фотографии будем смотреть?

Она прислала неожиданную телеграмму: «Возвращаюсь завтра восемь. Вагон шесть. Наташа».

Удивленные, радостные, они встречали ее после трехлетней разлуки. Отец сжимал в руках полуживые зимние цветы. Осторожно нащупывая ногой вагонные ступеньки, она спустилась к ним с девочкой на руках.

– Когда на следующий день она пришла к нам, – и бабуля незаметно опускает в мое горячее молоко кусочек масла, – я просто ахнула. Такая красавица! Анна Каренина. Еще лучше стала. Во всем заграничном. Ботинки, как сейчас помню, на толстой-претолстой подошве. Кофта с перламутровыми пуговицами. Волосы постригла. А какие были косы! Но ей все шло. Схватила тебя на руки и не отпускает. Несчастливая! Господи...

Что она рассказала моей маме, когда они шли с ней по остекленевшей от мороза, белой Девичке? Откуда я знаю? Мне не было четырех месяцев, и я спала.

– Тома, я думала, что более чужих друг дружке людей на свете просто не встретишь. А вот теперь его нет, и мне, как Матрена бы сказала, выть хочется. Места себе не нахожу, спать не могу. Но дышится мне без него вроде и легче. Горечи такой нет. Не смотри ты на меня так, не ужасайся! Все равно я всё только тебе одной и могу рассказать. Сейчас расскажу. Даже не знаю, с чего начать. Приехали мы, меня тошнит. Голова все время кружится. Вокруг не город, кладбище какое-то. Все в черном. Дети бледные, вежливые, глаза опущены. Да и у взрослых опущены глаза. Он уходил в восемь, приходил в семь. При этом ни за что не хотел, чтобы я поддерживала отношения с этими – как их? – с женами... Чтобы ни-ни: сиди дома, не рыпайся. Никакой ни с кем откровенности! Ну, этому я и сама была рада, потому что эти жены... Они всё горевали, что мы поздно приехали. Поживиться нечем. Все гобелены по офи-

перским чемоданам растеклись. Все богатые дома уже разграбили. Так вот: я сидела одна. И так день за днем. Рвало меня очень.

Она вдруг осеклась. Медленно плывущий с неба снег забелил их головы в вязаных платках и неуклюжую голубую коляску, в которой я спала и ничего не слышала, ничего не понимала в этом засыпаемом снегом разговоре. Она молчала и слизывала снег с верхней губы. И тогда мама, розовая от холода, с повисшими на ресницах капельками, сказала ей:

– И дальше что? Что?

– Меня рвало, и я была совершенно одна. Он приходил вечером. Он очень изменился там. Стал каким-то каменным. Ел молча. Потом... – Она опять замолчала. Мама ждала со страхом. – Потом сразу в постель. Господи, чего он только не выделял со мной! Я сначала ужасалась, потом привыкла. Меня затыгивало, как в омут. Воля моя пропала. Когда я на следующий день вспоминала это, меня бросало то в жар, то в холод. И ведь ко всему этому я же Аню ждала! Утром вставала вся разбитая, вся в пятнах, но... как сказать? Не счастливая, нет, а какая-то словно огнем наполненная. Нет, не могу, не смотри на меня. Так продолжалось месяца три. Потом, когда беременность стала совсем уже заметной, он вдруг резко от меня отстранился. Ужинал, читал иногда – и спать. Даже не целовал. Это ему было безразлично. И вот родилась Аня. Мне стало сразу хорошо. Я первый раз почувствовала себя счастливой. И Аня, ты знаешь, она же невероятно похожа на маму, на мою маму, и это так чудесно, правда? Я как-то даже перестала обращать на него внимание. Вся принадлежала ей. А он – это дико, нелепо, но это всё правда, – он меня к ней ревновал. Ее кровать стояла рядом с нашей. Среди ночи я вставала кормить. И пока я меняла пеленки, она, как все дети, попискивала. И я, ничего не подозревая, перекладывала ее на нашу постель, ему под бок. Поначалу он терпел. И вдруг взорвался. Он кричал, что достаточно устает за день, чтобы вкалывать еще и ночью, и если бы он знал, какую райскую жизнь я ему тут уготовлю, то точно оставил бы меня в Москве. Тогда я стала перекладывать Аню на кресло. У нас там было большое такое, вишневое. Это его тоже взбесило, потому что я так безропотно, понимаешь, безропотно, сделала, как он хотел, словно бы не сочла нужным с ним объясниться и этим его оскорбила. Тем не менее даже тогда, когда я просто на ногах еле держалась от усталости, он почти каждую ночь будил меня. И я опять подчинялась ему. Нет, я, наверное, сама любила его какой-то ужасной, постыдной любовью. Ужасной! Ночной, подлой, рабской.

Две совершенно белые фигуры шли по остекленевшей Девичке. Запорошенной гусеницей полз трамвай за чугунной оградой. Я спала и видела сны.

Небо было забито облаками, как ватой. Тяжелая клочковатая вата висела над сквериком, где она сидела рядом с бескровной голубоглазой старухой, одетой в траур. Быстро темнело. Она взглянула на часы. Шесть. Скоро он придет ужинать. Жизнь постукивала по накатанным рельсам. Душная вата забила небо. Она подхватила смуглую девочку, похожую на цыганку, усадила ее в коляску: «Пойдем, Анечка, скоро папа придет».

Картофельные котлеты стыли на столе под салфеткой. Он не пришел ни в семь, ни в восемь, ни в девять. В десять ей стало страшно. Она ходила по трем большим комнатам со старой дубовой мебелью, сжав виски ладонями и прислушиваясь. У него могло быть срочное задание в той части Берлина. Но он обычно знал об этом заранее и предупреждал ее. Второе предположение было нелепым, но она остановилась именно на нем. Женщина. Да, без сомнения. Она перенесла Аню на постель. Прижалась лицом к чернокудрой головке и заснула. Под утро ее разбудил стук в дверь. Двое в штатском – один маленький, с узкоглазым морщинистым лицом, второй – высокий, жилистый, отстранив ее, молча прошли в квартиру. Она с ужасом запахла халат.

– Ваш муж не ночевал дома? – скорее утвердительно, чем вопросительно сказал первый.

– Нет, – прошептала она. – Нет, нет...

Они спросили, когда он приходил обычно. Она ответила. Высокий жилистый вдруг снял очки и положил их в карман. Голые, без ресниц, немигающие глаза посмотрели на спящую Аню.

– А не заметили ли вы чего-то странного, необычного в его вчерашнем поведении?

Ей удалось перехватить его взгляд, устремленный на ребенка. Маленький морщинистый щелкнул пальцами.

– Мы вас не торопим. Вспоминайте, вспоминайте...

– Что с ним? – выдохнула она. – Где он?

– Вот этого мы пока не знаем. Должен был отчитаться вчера об исполнении важного задания. И не явился. Исчез. Похоже, что без следов. Вот как. Искали и днем, и ночью. Нету муженька вашего. – И он вдруг фамильярно подмигнул ей.

– У нас тут свои подозрения возникли, – вновь заговорил жилистый, протирая очки. – И потому вы нам сейчас ответите на кое-какие вопросы...

Вопросы показались ей странными. Не изучал ли он вечерами какой-нибудь иностранный язык? Нет, не английский. Какой-нибудь восточный? Индонезийский, например? Японский? Не совершал ли длительных загородных прогулок? Насколько сильно был привязан к семье? Наконец она не выдержала:

– Да где же он? Что с ним?

Маленький успокоительно похлопал ее по руке:

– Есть предположение, что муженек ваш бежал. Перемахнул. Фью-ить!

Она вздрогнула. Все что угодно, только не это. Что будет с Аней?

– Не забудьте, это только предположение. Не без оснований, правда. Но вдруг он к вечеру сам объявится? Или в лесу обнаружится тело неизвестного? А? Все может быть...

Облака забили небо. Бескровная старуха с жидкими голубыми косицами равнодушно смотрела, как маленькая, похожая на цыганку девочка возится в песке. Все кончено. Он не придет больше. Бежал. Бежал? А как же Аня? Что будет с Аней? А может быть, он умер? Убит? Может быть, свои же и убили его? Она вдруг вспомнила отца: «Это же свора, душа. Дикие волки. Кобели цепные. Только хитро науськаны. На своих охотнее, чем на чужих, бросаются. Родственной, так сказать, крови жаждут. Вокруг страх сеют и сами дрожат. Сладостная картина. Что молчишь, душа?»

Звон синенького графинчика. Материнское «а-а-ах!».

Ночью она почувствовала его руку. Рука нетерпеливо гладила ее тело, разливая медленный привычный огонь. «Соскучилась?» Влажное жало вползло в ее губы, размыкая их, настаивая. Этим он всегда начинал. «Соскучилась?» Она раскрыла губы, потянулась навстречу. Впереди была пустота. Она тянулась с раскрытыми губами. Рука, гладящая ее тело, вдруг стала бесплотной. Голос отца произнес: «Что молчишь, душа?»

Она раскрыла глаза. Месяц, прозрачный, как лимонный леденец, чудом держался в небе. Еще немного, и он упал бы на ее постель, растекся бы по ней своей холодноватой желтизной. Всё. Он не придет больше. Сбежал. Или умер. Свои или чужие, они убили его. Что будет с Аней?

– Я ждала еще несколько месяцев. Мучилась одна со своими подозрениями. Он мог засыпаться. Он мог испугаться, что засыпется. Сбежать. Или сдаться. И те, и другие могли убрать его. Официально они объявили внутренний розыск и, пока он шел, не выпускали меня. Потом выдали справку: «Считать без вести пропавшим». И выпустили.

Я сплю. Снег идет. Вся Девичка в снегу. Дед явно затаил что-то. Глаза его стали особенно хитрыми. Сашка парил ноги, и бабуля терпеливо ждала, пока он освободит кухню. Девочку пора было купать. В кого этот Сашка такой сибарит, а?

– Лиза, – сказал дед. – Мы должны взять прислугу.

– Прислугу? – ахнула бабуля, округляя глаза. – Какую прислугу?

– Просто прислугу, – твердо повторил дед. – Чистоплотную. Не воровку. Не пьяницу. Чтобы кухарила и помогала с ребенком. По-нынешнему – домработницу.

– Опять за старое, – вздохнула бабуля. – Били вас, били...

Так в квартире 4, доме 4 по Первому Труженикову переулку появилось новое лицо. Ее звали Валькой, и она приехала из Калужской области. Постепенно складывалось впечатление, что дед с бабулей взяли ее на воспитание.

– Да ты ешь, не стесняйся, – ласково говорил дед за завтраком. – Маслом мажь. А то из твоей худобы скоро опилки посыпятся.

Валька закрывала рот ладонью и прыскала.

– Когда смеешься, – вставляла бабуля, – не закрывай рта рукой. Это не принято, некрасиво.

– Не буду, тетя Лиз, – покорно соглашалась Валька и пальцем тыкала в синюю тарелку с изображением Наполеона. – Ктой-то?

– Наполеон, Валюша, – вздыхал дед. – Тот самый. А тебе надо в техникум готовиться. Нечего баклуши бить. Образование получать надо.

И принес с работы потрепанную «Историю КПСС». Вечерами, вдоволь наговорившись с подружками по телефону, Валька располагалась на раскладушке за ширмой и сладко, до слез, зевала.

– Ну, давай, Валюша, давай, – подбадривал дед. – Давай, занимайся.

– Ой, дядь Кость, – с хрустом потягивалась Валька. – Умаялась я до полусмерти. В сквере часа три гуляла с коляской, да в магазин сбегала, да вечером на Зубовской ситец давали, всю очередуху выстояла! Платье хочу пошить. А в башку, дядь Кость, ничего не лезет!

– Ну, хоть вчерашнее повтори, Валюша, – упорствовал дед. – Нельзя так. Бездельница!

– Вчерашнее? – удивилась Валька. Шуршали страницы. – А, вот оно: «Конституция – это основной закон...»

– Ты же эту фразу месяц учишь! – не выдерживала бабуля. – Опять Конституция!

– Конституция – это основной закон, – бормотала Валька, засыпая. – Основной закон... Конституция... – И падала на пол толстая книга.

На Наташу было страшно смотреть. Анечка лежала в изоляторе на первом этаже. В инфекционное отделение родителей не пускали. Наташа складывала башенку из битых кирпичей, залезала на нее, прижималась лицом к окну, до середины замазанному белой краской, и не отрывала мокрых обезумевших глаз от заострившегося личика на плоской подушке. Так прошло десять дней. На одиннадцатый Анечки не стало.

– Нет! – кричала Наташа и билась на только что вымытом кафельном полу. – Нет! Не верю! Неправда! Да покажите же мне! Не верю!

На похоронах она не проронила ни слезинки. А когда все было кончено, легла на свежий холмик и замерла. Оторвать ее не могли никакими силами. Тогда дед сказал моей маме:

– Идите. Уведи всех. Подождите нас на улице.

Продрогшие, заплаканные, они долго стояли у кладбищенских ворот, ждали. Наконец она показалась, поддерживаемая дедом под руку. Лицо ее было сильно испачкано землей.

...Папу уволили в начале пятьдесят третьего. Сокращение кадров предваряло большую операцию по борьбе с евреями.

– Да плюнь ты, – успокаивал дед и гладил кудрявый папин затылок. – Пусть подавятся! С голоду не умрем!

– Я молотобойцем пойду, – скрипел зубами папа. – Видели мускулы! – И напрягал бронзовую руку. Мускулы каменели на глазах. – На завод пойду. Сволочи.

– Да, на заводе легко спрятаться, – грустно усмехался дед. – Местечко теплое...

А в марте усатый хозяин умер. Растрепанная Валька голосила на раскладушке. Котлеты сгорели. На улицах была давка.

– Сегодня никто из вас из дома не выйдет. – Дед предостерегающе поднял палец: – Никто.

– Как? – взвизгнула Валька. – Очумели, дядь Кость? А как же проститься?

– Сиди, не рыпайся!

Лицо его было непроницаемым.

...Я лежу на диване со своей любимой куклой. Кукла называется «кореец Пак» и представляет собой желтого узкоглазого мальчика в синих шелковых шароварах. Стук в дверь. Мама пришла!

– Скорей! – шепчет мне бабуля. – Дай маме тапочки!

Когда много лет спустя меня спрашивали: «Неужели ты ее совсем не запомнила?», я всегда отвечала: «Нет, запомнила. Она приходит с работы, и я даю ей тапочки».

...Туман. Молочный туман моей неуклюжей детской памяти, в котором я бреду на ощупь с вытянутыми руками, натываясь на собственные сны и чужие рассказы. И вдруг в волокнистом, всей кровью шумящем, горячем тумане мои растопыренные пальцы упираются в нечто плотное, осязаемое, пушистое – мамины домашние тапочки. Красные. Да, было. Да, было!

...Я лезу под диван, достаю тапочки, слышу, как кто-то смеется, потом бегу к ней. Ее я не вижу. Чувствую только невероятную легкость, соединенную с чем-то сияющим, светлым, склонившимся надо мной, теплом коснувшимся моей головы и растаявшим. Господи, какой туман... Я ничего не вижу. Что потом?

...Подушки, гора подушек. Я подхожу ближе, и опять что-то сияющее, большое выплывает мне навстречу. Смеха не слышно.

«Мама больна, – шепчет бабуля. – Пойдем. Мама спит».

Но она не спит. Я отчетливо вижу, как что-то плавное, белое – рука? – поправляет каштановую волну – волосы? – на большой белой подушке. Она не спит. Она сидит, откинувшись, и ей мешают волосы. Опять все обрывается. Молочный, всей кровью шумящий, горячий туман – да, туман, – я бреду в нем...

В коричневом чемодане была отдельно связанная стопка. Она лежала с документами и не представлялась мне особенно интересной. Однажды я ее все-таки развязала. И тут замелькало: «...моя жена... грязное оскорбление, предъявленное моей жене... умершая в марте пятьдесят пятого года... обращаюсь к вам, уважаемый Никита Сергеевич... убежден, что нарушение законности и безобразная клевета, доведшая ее до могилы...»

После Анечкиной смерти прошло четыре месяца. Ляля сидела на низенькой скамеечке у огня. Волосы ее заметно потемнели. Наташа куталась в платок. Снег валил за окном.

– Ты завтра выходишь на работу?

– Да, – сказала Тома. – Немножко страшно. Какие там ковры! И зеркала. Дворец! Нет, правда. Я думала, будет тоскливо, но ничего, приятно даже. Машинистки все в лаковых туфельках. Где они их достают, бог ведает. Привозные, наверное.

– Куда ты летишь, Томочка? – в соседней комнате звякнул синенький графинчик. – В гнездо, в осиное гнездо летишь... А ты не оса, моя деточка, нет уж! Бабочка садовая, шоколадница...

– Она очень хорошо выучила английский, папа, – негромко сказала Наташа, кутаясь в платок. – Она самая способная, даже акцента нет. Они ее взяли за это. И что там такого? Она же не будет иметь к ним никакого отношения, просто переводить на переговорах. Министерство внешней торговли – это ведь не Министерство внутренних дел, не путай!

– В этой стране, душа моя, все дела – «внутренние», «внешнего» ничего нету. И не иметь к ним отношения невозможно. Мы все к ним отношение имеем. Даже я, старый пьяница. Терплю, молчу, следовательно, и отношение имею. Эх, Томочка! Сидела бы дома, с девочкой бы гуляла в скверике...

В скверике под взглядом накупившегося гранитного Толстого я гуляла с Валькой. Валька без умолку болтала с подружками, и, будь я постарше, я легко поняла бы, что происходит у нас в доме.

– Через год буду в техникум поступать, – заливалась Валька. – Не могу я их сейчас бросить. Теть Лиз без меня свалится. Они ведь все ни свет ни заря на работу убегают: Томка в одну сторону, дядь Кость – в другую, а кудрявый – в третью. Его на прошлой неделе обратно взяли книжки переводить. Он у нас все языки знает! Я вот в деревне жила, думала: евреи все синие да старые, как куры инкубаторские. Пальцы, думала, у них скрюченные, того гляди зацапают! Мне бабка Клавдия говорила: «Пуще всего, Валька, жидов бойся! Как завидишь жида, беги без оглядки!» А ведь все, девчат, врут! Наш-то красавец, хризантема. Ей-богу! Два раза на дню холодной водой обливается, Томку нашу любит, страсть! Не пьющий, ей-богу! Капли в рот не берет! Одна беда: больно горяч! Как что не по нему, так и подскочит! А отходчивый. Она его по голове погладит, глядишь – и прошло. С той-то, с прежней своей, не ужился, подходу к нему не нашла. А наша – ух, умная! Страсть! Слова поперек не скажет, а все по-своему сделает. Вот уж, девчат, правда: дал Господь голову...

После родов она неожиданно расплнела. Вечно опаздывая, бежала на Смоленскую (трамваи ходили редко, и добежать туда было быстрее, чем доехать). Задыхаясь, распахи-вала тяжелую дверь, предьявляла пропуск. Стряхивала снег с вязаного шарфа. Поднималась в лифте на десятый этаж. Пахло чернилами, бумагой, крепким чаем. Машинистки стучали вишневыми ноготками.

«...она, – говорит папа и страдальчески морщится. – Она была просто влюблена в эту работу. Ей все нравилось: и это двадцатипятиэтажное уродство с башнями, и беготня, и то, что приходилось все время говорить по-английски. Как она поплатилась за свою суетность!»

Сразу после Нового года был назначен новый начальник отдела.

– Лялька, – она обхватила Лялину голову. – Как я хочу, чтобы ты с ним познакомилась! Такой замечательный! И деликатный. Я почему-то уверена, что он не женат!

«...она всегда кем-то восхищалась, – папа страдальчески морщится. – Ей вечно надо было кого-то опекать, женить, знакомить! Ужасно! И ты такая же! Вот чего я боюсь!»

«...мою жену в глаза обвинили в nepозволительной связи с начальником отдела товарищем Рыжовым, – читаю я на пожелтевшем от времени листе. – Моя жена (зачеркнуто)... снести незаслуженных оскорблений и (зачеркнуто)... вслед за последовавшим увольнением слегла...»

– Пей молоко! Не помню я ничего! Не хочу я этого помнить! Спроси папу, пусть он тебе расскажет! Если найдет нужным! Пей, пока горячее...

Как же это началось? Откуда мне знать? Я гуляла с Валькой на Девичке, и суровый Толстой сверлил меня глазами.

Задыхаясь, она распахнула тяжелую дверь. Предьявила пропуск. В отделе было как-то слишком оживленно. Машинистки шушукались по углам.

– У Рыжова неприятности. Наверх вызывали.

– Что такое?

– Он вчера на переговорах, Тамарочка, допустил идеологическую ошибку. Сказал, что производство сельскохозяйственных машин все еще не налажено после войны, и...

– Да что же здесь идеологического?

– Как что? Ах да, вы ведь это переводили! И вы ничего не заметили?

– Чушь какая-то! – она вспыхнула. – Где он? У себя?

Он сидел за столом, заставленным телефонами, лицо его было мучнистым и жалким.

– Неприятности у меня, слышали? – Потер виски ладонями. – Два пирамидона принял. Не помогло. Разламывается голова. Да, вот такие дела...

– Но я же переводила это, Дмитрий Степаныч! Я же помню! То, как вы это сказали, звучало совершенно уместно!

– Тамара Константиновна, – он понизил голос, оглянулся затравленно. Она невольно придвинулась ближе, чтобы расслышать. – В том, что меня не сегодня завтра выкинут, я не сомневаюсь. Хуже бы чего не было... Спасибо, что зашли.

Тогда у нее застучало сердце. Я слышу, как оно неистово застучало, ее сердце, в котором дремал тот самый порок, который назывался «скрытым» и никак не проявлялся в этой своей «скрытости», пока не настало его время, пока оно не подошло.

– Что ты так задыхаешься, Томочка? – спросил дед, внимательно всматриваясь за вечерним чаем в ее горящее лицо. – Что ты так волнуешься?

– Но я же рассказываю! Такая несправедливость! И главное: ведь я переводила!

– Ты так возмущаешься, словно имела счастливую возможность привыкнуть к справедливости. Когда же такое бывало?

– Да, но я переводила!

Лицо ее горело, она задыхалась.

Через два дня Рыжова уволили, и маленький вертлявый заместитель в очках-лупах занял его место за столом, заставленным телефонами.

– Но я не могу, не могу с этим смириться! Как же я промолчу? Если бы ты видел, как он уходил! Как побитый! В дверях уронил какую-то книжку. Извинился. И все сидели, не шелохнулись. Боже мой, да ведь так можно убить, ограбить, и никто не пикнет! Что же это такое?

– А ты знаешь, – шептал папа, – чем бы это кончилось, если бы *тот* не умер? Это еще что... Успокойся. Ты не переделаешь этот мир. Спи.

И заснул первым. А она лежала с открытыми глазами, и свет от редких машинных фар плавно скользил по низкому потолку. У нее горело лицо и стучало сердце, а я спала в соседней комнате, и над моей детской кроваткой висел тканый коврик, на котором огненно-рыжая лиса волочила в зубах растрепанного белого петуха, уносила его куда-то за синие леса, за высокие горы, в глубокие норы...

Она написала письмо, которое никто, кроме нее, не подписал. Она хотела наивно восстановить справедливость, которой – разве она не знала об этом? – никогда не бывало. В эти дни она стала ездить на Смоленскую на трамвае, еще не отдавая себе отчета в том, что бегать по улицам ей просто не под силу. Ночами ее мучил кашель. «Простудилась?» – тревожился папа. Через несколько дней ее вызвали к вертлявому заместителю.

– Вы что же это, не разобравшись в ситуации, защитные письма посылать вздумали? Мне товарищи позвонили и настоятельно просили разобраться. Письмо у вас получилось такое пыльное, литературное. Но прямо говорю – пустое. Безосновательное. Проще сказать: нелепое письмо. И я подозреваю, что тут личные мотивы замешаны. А вы знаете...

– Что вы сказали?

– Сказал я то, что всем известно. Наше учреждение не ЖЭК, как вы понимаете, и не контора дровяного склада. Так что вносить в его работу подобную художественную, так сказать, неразбериху мы никому не позволим.

Прямо на нее сверкнули очки-лупы.

– Как вы смеете так разговаривать со мной?

– Что значит «смею»? – Он повысил голос и приподнялся в массивном кресле. – Что значит «смею»? А вы как смеете прикрывать дурацкими писульками своих любовников, находясь в стенах советского учреждения, а?

Она вылетела, хлопнув дверью. Опустилась на первый стул. Закашлялась. После обеда ее вызвали в отдел кадров. Приказ об увольнении был подписан.

Снег тает. Окна слепнут от солнца. Мы с папой едем в пропахшем бензином автобусе, и я спрашиваю его с негодованием, чувствуя, как сердце разрывает мне горло:

– Но как, как она могла так расстроиться, чтобы заболеть и умереть? Как? Ведь у нее же была я? Разве она не любила меня?

У меня горит лицо, и я задыхаюсь, прижимаюсь носом к автобусному стеклу в весенних потехах.

– Тебе двенадцать лет, – говорит он устало. – А ты рассуждаешь как маленькая. Никто про тебя не забывал. Пока этот мерзкий порядок не затронул ее, ей трудно было представить, насколько он мерзок. Она витала в облаках, и наконец эта подлая дурацкая история открыла ей глаза. Удивительно, конечно! Вырасти в такой семье и на поверку оказаться столь беспомощной, столь наивной. Удивительно, невероятно! Но она действительно переживала настолько сильно, что уже ни о чем другом не могла думать. Она сгорела. Больному сердцу ведь немного надо, чтобы...

Он умолкает. В автобусе пахнет бензином, окна слепнут от солнца.

...Она уже не ходит на работу, и тапочки сиротливо краснеют у постели, на которой она сидит, опираясь на гору высоких подушек и кашляя. Мы с Валькой входим в комнату, где топится кафельная печка и пахнет лекарствами. Мы запорошены снегом и размяты. За окнами скребут дворники. Она отводит от лица тяжелую каштановую прядь и спрашивает Вальку:

– Холодно на улице? Она не легко одета?

Похудевшая строгая Наташа входит следом и говорит спокойно:

– На улице чудесно. Тепло и пахнет весной. Хватит тебе болеть!

Она кашляет.

Я леплю снежную бабу. Толстой, как всегда, за мной присматривает. Валька сидит на санках, окруженная подружками, и всхлипывает:

– Томка вчера мне свою шапку каракулеву подарила. Говорит: «Я все равно лежу, а поправлюсь, так зима кончится. Покрасуйся». И подарила. Кашляет, разрывается. Два профессора вчера были. Частники. Дядь Кость за ними на такси ездил. Говорят: сердце. А кто ж, девчат, от сердца кашляет! Врут, поди, деньги вымогают! А я выскочила на заре в сортир, смотрю, в кухне на табуретке дядь Кость сидит, голову обхватил руками и плачет. Боимся мы. Ужинать сядем, и кусок в горло не идет. Завтра последний анализ сделаем и решать будем, в больницу класть или чего...

Старенький сухой доктор с печальным еврейским профилем долго отряхивал снег с калош. Величавая Катя проплыла в свою комнату с блюдом кривобоких пышек.

– Позвольте мне вымыть руки.

Он печально приподнял брови и прошел на кухню. Папа шел за ним с полотенцем. От волнения акцент его опять усилился.

– Она очень переживает одну отвратительную служебную историю. Она слегла от нее. Я вас прошу: поговорите с ней как специалист, объясните ей, что...

– Мы от жизни не лечим, голубчик, – скорбными глазами он посмотрел прямо в папины, испуганные. – А от такой жизни тем паче...

Она кашляла, а он слушал, выстукивал, считал пульс и хмурился.

– Меня сегодня утром участковый симулянткой назвал, – и она рассмеялась, отводя каштановые волны с лица. – Сказал, что мне болеть просто выгодно. Интересно, почему мне это выгодно?

– Хамы... – он улыбнулся ей. – Не обращайтесь внимания. Нельзя принимать все так близко к сердцу. Оно этого не любит.

...Как он уцелел, этот старенький сухопарый доктор, единственный из всех понявший, как серьезно она больна, как он, с его скорбным карим взглядом, дотянул до относительного благополучия пятьдесят пятого года?

«Только один человек, не профессор даже, просто врач из клиники, заподозрил то, что потом подтвердилось на вскрытии, – папа страдальчески морщится. – Он только что вернулся из лагеря, только что был допущен к работе. Маленький такой старик, еврей. Он очень хмурился, осмотрев ее, и сказал нам...»

Что он сказал?

Они стояли вокруг стола – дед, бабуля, папа – и ждали. Он хмурился и думал. Потом произнес:

– Тяжелое положение. И надо в больницу. Срочно, немедленно. Странно, что ее до сих пор не госпитализировали. Позвоните мне утром на работу, я попробую завтра же положить ее к себе. Боюсь, что нужна операция.

Печально посмотрел в папины запрыгавшие зрачки:

– Вы не оставляйте ее одну ночью. Подежурьте. Чтобы не пропустить, если что...

Ночью она умерла.

Туман. Я бреду в нем с сухими глазами. Я одна. Ее нет. Я пробираюсь к ней сквозь сомкнутые годы, и все повторяется: туман, туман, туман, гора белых подушек, красные тапочки, свет...

«...моя жена не была больным человеком в прямом смысле этого слова... За три года до своей скоропостижной кончины она легко и благополучно родила совершенно здорового ребенка...»

Мы с папой едем в автобусе. Солнце слепит.

– Скажи мне только: если бы не *это*, она жила бы?

У меня перехватывает дыхание от невыносимой мысли: если бы не *это*, она бы...

В церкви было много народу. Любопытные старухи с вытекающими глазами толпились в дверях, перешептывались:

– Молодая совсем. Годков двадцать пять будет. Замужняя. Вон мужик-то ее. Кудрявый! О-ох! От судьбы не уйдешь!

А я? Я гуляла с распухшей от слез Валькой, ничего не зная. Я лепила снежную бабу из последнего мартовского снега, пока ее отпевали и прощались с нею. Я искала в колючем сугробе свою лопатку, пока папа, не отрываясь, смотрел на ее изменившееся лицо. Ночевали мы с Валькой у знакомых.

– Ангел, ангел и была, – мрачно говорила Матрена на кухне. – А ангелов Бог завсегда к себе берет. Они ему там сподручнее... А здесь чего? На нехристов вкалывать, прости, Господи, меня грешную!

Да. Но почему одновременно с мамой исчезли из моей жизни и Ляля с Наташей?

– Я останусь здесь сегодня. Переночую, – сказала Ляля неподвижной, совершенно черной Наташе.

Поминки кончились. Они вымыли посуду, протерли пол.

– Иди домой. Я останусь.

И Наташа ушла. А Ляля осталась. Она легла на раскладушке в комнате, вскоре переименованной в «папину». Из маленькой, смежной, в которую скрылись дед и бабуля, не доносилось ни звука. Папа молчал, а она рыдала, вжимаясь в подушку. Потом стала успокаивать его, хотя он молчал.

– Я все время буду с вами, – рыдала она. – Мы ее вырастим! Мы ее вырастим так, как если бы Томка была жива. Я буду с вами, ты слышишь? Кто мне дороже на свете?

Под утро она заснула. И проснулась от дверного скрипа. В матовой рассветной белизне стояла моя бабуля, одетая так же, как накануне, а за ее плечами, наглухо застегнутый, стоял дед, и они были похожи на две вытянутые бесплотные тени.

– Ляля, – сказала бабуля ровным голосом. – Иди домой. Я не могу вас видеть: ни Наташу, ни тебя. Ее нет, и мне никто не нужен. Я справлюсь сама. Она приходила ко мне и просила не оставлять девочку. Она приходила ко мне сегодня ночью. Я не спала. Я обещала ей. И мне никто не нужен. Я не хотела жить, но она плакала и умоляла меня. Значит, будет так, как она хочет. Иди, Ляля. Я не могу вас видеть: ни Наташу, ни тебя.

Повернулась и ушла. И дед, не проронивший ни слова, приблизился к Ляле, поцеловал ее в потемневший пробор и ушел тоже.

Какой снег! Мир расплзается под моими варежками, как намокшая вата. Взъерошенный воробей в белой наклке перепрыгивает с ветки на ветку. Голоса кажутся мягче, медленнее и увязают в слепящем белом месиве вместе с моими валенками, воробьиными лапками, папными остроносими башмаками. Мы спешим в театр. Разве, умирая, я посмею сказать себе, что не была счастлива в этой жизни, на шестом году которой было воскресное утро, заваленное снегом, и новое платье с кружевным воротником, и красный бархат ложи, куда мы вошли, как всегда опаздывая, когда уже погасили свет, и поэтому я не обратила никакого внимания на просиявшую улыбкой чернобровую красавицу, повернувшую голову нам навстречу?

Дети бредут по сцене в поисках Синей птицы. Мне интересно, только немножко неприятно, что их умершие дедушка и бабушка разговаривают с ними как живые, расположившись на куске плотного белого кружева, отдаленно напоминающего облако. Мои дедушка и бабушка живы, никогда не умрут и ждут меня дома. В театре тепло, темно, пахнет духами и апельсинами. Мое новое платье с кружевным воротником – самое красивое на свете.

Зажигается свет. Антракт. Чернобровая худая красавица с мокрыми от застывших слез сияющими глазами целует меня и крепко прижимает к груди мою голову. Папа напоминает мне, что ее зовут Наташа. Она, не отрываясь, смотрит на меня – радостно, жадно, словно не может насмотреться. Потом мы идем в буфет, и глаза мои разбегаются от разноцветных пирожных. Нет, лучше шоколадку. Со сказками Пушкина. Там, где все на обертке: и дуб с цепью, и старик с неводом, и Людмила в кокошнике, и говорящий кот...

А потом мы едем, нет, плывем сквозь медленную белизну, сквозь печальный печной дым, сквозь стеклянные деревья, мы плывем и приплываем в большую полуподвальную комнату с белоснежной занавеской на окне, с круглым столом под белоснежной скатертью, который ломится от пирожков, конфет, чашек, чашечек и вышитых салфеток с голубками и незабудками. Вокруг стола суетятся две полные сырые старухи, похожие на уток, и кудрявая, круглолицая, смешная женщина, которая, едва увидев меня, бросает все, зацеловывает мою холодную заиндевевшую голову в капоре и так же, как Наташа, прижимает ее к груди. Мы пьем чай, и я внимательно разглядываю эту комнату с ее фотографиями на стенах, темным скрипучим буфетом, соломенным креслом, из которого торчат прутья...

Я ем булочки, а все эти женщины, не отрываясь, смотрят на меня, и у сырой старухи, похожей на утку, смешно краснеет кончик носа и по щекам ползут слезы...

– Дай Бог, чтобы у тебя были такие подруги, – сурово говорит бабуля и бережно заворачивает фотографии в папиросную бумагу. – Опять ты молоко не пьешь! Пей, пока горячее...

МЕДВЕЖИЙ БУКВАРЬ

У меня шерсть – большая, красная, не прочесать. Когда Федору меня отдали, он сразу сказал: «Ну, я из него человека сделаю!» А мне и трех месяцев не исполнилось, что я понимал? Ревел все время.

Федор мне секунды отдыха не давал: то велосипед, то кегли, то самокат. Скорее, скорее, чтоб только был номер! Я потом понял, почему он так торопился: мать **умерла**, сестры Настя и Даша – семиклассницы, в доме ни копейки. Откуда у него деньги? Студент циркового училища.

Мы с Федором целыми днями работали. А как ночь, так это. Сначала весело и искры. И я вместе с искрами падаю. Лежу, сверху льется горячее что-то. Наверное, снег. Это снег. Он и льется.

Федор сказал: «Главное, память отшибить. Чтоб зверь позабыл, кто он есть».

Понимаю. Надо ее отшибить, потому что она мешала ему работать. И пахла каждую ночь, как та елка, которая у нас на Новый год посреди арены горела весь месяц зеленым и желтым. Потом елка высохла, запах свернулся, ее унесли, а мою отшибают. Запрут меня в клетке и свет сразу гасят.

В лесу молоко и всегда очень жарко. **В лесу** шла зима, мы в нем с матерью жили. Потом мать **убили в лесу**. Я остался.

Что это: **убили** – пока что не знаю. Но мать так кричала. И это я помню.

Сначала мне сунули морду в огонь. Потом сразу в черное, и завязали. Потом пришла **баба** и стала реветь:

– Космат, ну, косматый! Давай в дом возьмем!

Тогда и мужик разбрехался:

– Ну, ты! Его продадим, знаешь, сколько отвалят!

Я лежал на мокром, на лапы его не смотрел. Они сильно пахли. Тогда я не знал: это кровь. Теперь уже знаю.

Никого я так не боялся, как черного мужика. Даже пьяного Федора так не боялся.

От Федора пахло железом. И бил он не сильно, коротенькой плеткой.

Федор – белый, костлявый, вся шерсть на нем желтая. Есть очень хочет.

У Федора мать **умерла**, а мою мать – **убили**.

Мы уже второй месяц работаем на льду. По деньгам это хорошо. Деньги – бумага, называются «бабки». Лед придумал Аркадий, он **умница**. Я знаю: он **умница**, Федор сказал мне.

Он приехал к Федору, когда бабки кончилась, и Федор кормил нас овсянкой. У него договор с дирекцией: живу я при цирке, но в цирке не кормят, у них на своих не хватает. Кормил меня он. Потом, когда кончились бабки, мы ели овсянку. Меня **пронесло**. От овсянки, конечно.

Когда **пронесло**, к нам приехал Аркадий.

Аркадий сказал:

– Бери-ка Мишаню на лед и работай!

А Федор ревет:

– А зачем нам на лед-то?

– А ты человек будешь, Федя, с медведем. Народная сказка. Ну, понял? Доперло?

После этого Федор мне запретил на четырех лапах жить. Как я опущусь на четыре – он плеткой. И я поначалу ревел. Спина – у-у-у! – горела. Как будто в ней сук. Но с утра было лучше. С утра я стою на своих, каждый день.

Утром Федор клетку открывает, смотрит на меня. Во мне молока полно брюхо, и жар.

Вокруг меня **лес**.

Утром я очень люблю Федора. Он клетку откроет и морду мне гладит.

Утро в нашем цирке розовое, и сразу ложится вокруг, как вода. Лежит и лежит, а потом уже вечер. Я цирковой артист, мы и утром, и вечером работаем.

Меня Федор кормит, он любит меня. А после – сук в спину. Работаем, значит.

Площадку давали, но редко. Скоты.

Мой Федор ходил к ним, к скотам. Ревел там. Потом говорит: «Да срать нам на них, а, Мишаня?»

Аркадий автобус нам дал. В нём – Ван Ваныч. И стали на лед, на искусственный, ездить. Ван Ваныч похож на осла. С ослом нашим бурый работает Неля, боится, что сдохнет. Осел у нас старый. Неля ему делает уколы перед каждым выходом, и он начинает плясать на арене. А чуть за кулисы, и всё, поддыхает. Но Неле так надо. Ей бабки нужны.

Ван Ваныч въезжает во двор, это утро. Выходим мы с Федором, сразу в автобус. Домой только вечером.

Работа – не сахар, так Федор сказал мне. А я стал артистом, как маму**убили**.

На льду нам попалась Оксана. Приходим, садимся на лавку, и вдруг – у-у, какая! Вся белая-белая. Морда – как лед. Глаза голубые. Внутри шерсти – блески. Надела железки и стала крутиться.

А Федор стоит и стоит, как наш бурый. Забыл про работу.

Потом он достал из кармана намордник и морду мою всю засунул туда. Мне стало обидно, а он – меня плеткой. И мы покатали.

Она всё крутилась, пока не упала.

Тут Федор ревет:

– Извиняюсь! Вот мы!

Она даже глаз не открыла, лежит.

– Ударилась? – Федор ревет и дрожит весь.

Она ему в морду оскалилась белым и лапами машет. Ей, значит, смешно.

И Федор сказал:

– Познакомиться надо.

Она нам ревет:

– Я Оксана.

Я сразу почуял, что всё в ней – как мед. Она очень сладкая, сладкая **баба**. И вся в молоке. Пахнет тоже как мед. Густым, сильным-сильным, немного как рыба. И Федор почуял.

Он поднял Оксану со льда и ревет:

– Давай! Догоняй нас!

И сразу к трибуне. И сам весь дрожит.

Там Федор сказал. Он сказал:

– Оксана! Ты очень красивая! Очень!

Она ему что-то тихонечко:

– У-у!

А что, я не понял. Но Федор мой весь заблестел.

Он ей говорит:

– Ну, о'кей. У нас транспорт.

Поехали мы на Ван Ваныче. Едем. Оксана ему говорит:

– Здесь. Вот здесь вот.

И Федор сказал, чтоб забрал он нас в восемь.

Они выпрыгнули из Ван Ваныча, и Федор меня поволок вместе с ними. Намордника даже не снял, это плохо.

Оксана открыла ключом одну дверь, потом еще дверь. Потом было зеркало, я всех нас видел. Потом они сняли с себя свои тряпки.

Я **мог** повернуться – они были слева, – но, если я увижу его голым, Федор меня **убьет**. У них это стыдно, когда нету тряпок, а только одна шерсть да кожа. Они терлись кожей о кожу без тряпок. Оксана была очень маленькой, сладкой. И вся в молоке. Потом они в зеркале и покатались. Сначала упали, потом покатались.

Она, значит, тоже артистка. Как я.

Они все катались, и мне было скучно. И тут Федор вдруг закричал. Он так закричал, что я понял: он **умер**. Я знаю, что **умер** когда – так кричат.

Они пахли рыбой и тихо лежали. Но Федор мой стал – не моим. Он стал теперь больше Оксаной, чем Федором. Лежал в ней, как рыба на рыбе, и спал.

Потом зазвонил телефон.

Оксана открыла глаза под мордой моего Федора, потому что его морда лежала на ее морде. Потом она стала отрываться от него, чтобы достать телефонную трубку. Трубку она не **могла** удержать, уронила ее на пол, и там заревели: «Оксана!»

Оксана прижалась щекой и ревет:

– Сейчас не могу!

Тут мой Федор проснулся.

Он обхватил Оксану лапами и засмеялся. Тогда она вырвалась вся:

– Есть хочу! Куда нам Мишаню девать? С ним не пустят.

И Федор тогда говорит:

– Извини нас.

Оксана достала еду.

Тут у меня сразу заболело брюхо и лапы затряслись.

Если мне не показывать еду, я **могу** терпеть, а если ее показать, не **могу**.

Она достала красную бутылку, потом еще белую, потом еще черную и мне говорит:

– Что смотришь, Мишаня? Голодный, наверное.

Федор снял с меня намордник, я потянулся к бутылкам и ко всей этой еде, которая была на столе. Оксана достала лохань и всего навалила. И я это ел. Потом стали вместе все пить из бутылок. Оксана налила из белой и поднесла стакан прямо к моей морде. Влила в меня всё, что плескалось в стакане, и я проглотил. У-у-у!

Потом я еще кувыркался немного, потом зазвонил телефон.

И Оксана ревет:

– Приехали! Баста!

И сразу ушла, только дверь не закрыла.

И Федор притих, стал как был – моим Федором.

Она вернулась, разворошила шерсть на его голове и говорит:

– Пора. Не хочу, чтобы он тебя видел.

Тут Федор меня отшвырнул, я свалился.

Она говорит:

– Сядь и слушай.

Он сел. Она стала реветь. И Федор мой весь **пересох**. Так бывает, когда забывают налить тебе воду, и ты ни о чем больше думать не **можешь**.

– Так он тебя продал? – ревет ей мой Федор. – Скажи мне: он продал?

– Не продал, – ревет, – я сама так хотела! Он дом обещал мне! Огромный! В Торонто!

И стала просить, чтобы мы уходили. Нельзя, чтобы нас с ней увидели вместе.

А Федор сказал:

– Нет, я так не умею.

На **улице** пахло несвежей селедкой, когда мы спустились и вышли из дому.
Ван Ваныч подъехал, а дальше не помню.

Утром Федора не было, розового не было, я есть хотел, пить. Утро – это работа. У нас по утрам всегда ругань и топот. И **наши** все бегают и матерятся.

Мы пропустили первую репетицию, но днем Федор открыл клетку, лизнул меня в морду и дал много рыбы. Его морда стала больной и костлявой. А может, его **пронесло**, так бывает.

И он мне сказал:

– Всё, Мишаня, забыли. Она, вишь ты, замуж выходит. Что делать?

Потом заскрипел и завыл. Потом лег, как будто бы он, как и я, – зверь из **леса**. Я вылизал морду ему. Всё солёно!

– Мишаня, – ревет, – я ведь плакал – когда? А вот когда мать **померла**.

Он сжался, и я его грел своим брюхом.

Тут мы увидели Аркадия. Он шел, словно лапы ему отдавили.

– Спокуха, – Аркадий ревет. – Слышишь, Федя?

– Зачем подвалил? – заревел ему Федор.

– Оставь эту телку, кому я сказал? Оставь. За неё заплатили, ты понял?

– Иди, миротворец! И так разберемся!

Аркадий ревет:

– Извини, не расслышал! Ты что, без меня прокормиться решил, или как там?

– Не бойся, не сдохну! – ревет ему Федор.

– Ты, может, не сдохнешь, – смеется Аркадий, – а вот малолеток куда?

Когда он смеется, он пахнет болотом.

– Ты сука! – ревет ему Федор. – Ты – сука!

– А я ни при чем, – отвечает Аркадий, – Настёну мне жалко, ее полечить бы!

Я думал, что Федор сейчас его – плеткой, а он ничего. Только стал совсем белым.

– Тогда, детка, слушай, – смеется Аркадий.

– Чего тебе нужно? – ревет ему Федор.

– Ну, слушай, малыш, ты кончай заводиться. Я бабки даю? Я даю! Сестер я тебе поднимаю? А как же? Давай тормози-ка! Дело очень кисло. Оксанка, она через месяц – тю-тю вам! Встревать тебе нечего. А через месяц снег выпадет, каток на Красной зальют. Начнем тогда бизнес с тобой. Настоящий.

– Какой еще бизнес? – ревет ему Федор.

– Ну, вот! Какой бизнес! Ты сказки читал? Нет? Ну, может, хоть слышал? Мужик с медведём! Вот какая тут сказка! Тут Красная площадь под боком, тут Кремль. И тут вам народная сказка! Чем плохо? Я супердела заварю, ты не бойся. С девчонками бизнес, с кваском, ты не бойся!

– Проваливай! – Федор ревет. – Не хочу я!

Аркадий стал черный весь. И провалился.

– Я, Миша, не все тут секу! – мой ревет. А я его грею, лижу ему морду. – Давай, значит, так, – он ревет. – Что за дело? Аркашке я нужен. Зачем? Непонятно. Медведь дрессированный, так? Ну, и что тут? Подумаешь, бизнес! Курям, Миша, на смех! Зачем мы ему, а, Мишаня? Зачем мы? Идем, значит, дальше: Оксанка. Оксанка! Вот тут, Миша, круче! Тут, Миша, и бизнес! Оксанка бывала в Канаде с балетом, Аркашкин партнер ее там заприметил. Аркашка ее вроде продал в Канаду. Оксанке пока, значит, хату. И тачку. Живи, наслаждайся! Канадец подвалит, Оксанка готова. Сидит как картинка. Ты, Миша, сечешь?

Конечно, секу. Мы из цирка, артисты.

– Оксанка взяла крутанула, сечешь? С моей, в общем, помощью. Что происходит? А то, что Аркашка порядком струхнул. Партнер-то не шутит! Идет, значит, прямо: «Давай отвали!» Я, положим, валю. Зачем я ему? Отвалил – и привет вам! А он обещать начинает: «Медведь! Народная сказка! Делишки заварим!» Ведь если я бабок нарою, я – что? Ведь я ж уведу ее, Миша, ведь ясно! Зачем же тогда помогать мне, зачем?

Мне Федора жалко, но Федор – дурак: задрать нам Аркадия надо, и точка.

Мы поехали на искусственный. Федор учил меня кланяться, потом играть на гармошке, потом опять кланяться. В восемь нас забрал Ван Ваныч, было уже темно. Я тут же унюхал, чем пахнет автобус. Оксаной он пахнет. Она выползла из-под заднего сиденья и свалилась Федору на колени. Мы приехали в цирк, где не было представления, была только **баба**, она чистит клетки. Федор открыл дверь в артистическую, они повалились на диван.

Мне стыдно, когда Федор мой так кричит.

И тут кто-то лапами грохнул по двери.

И Федор сказал:

– Ну, Мишаня, давай!

И я заревел. В дверь нам грохал Ван Ваныч.

– Эй, вы! Отворяйте! Чего заперлись!

– Чего тебе надо? – мой Федор ревет.

– Медведя давай убери, ёлы-палы! Давай открывай, ёлы-палы, паскудь!

– Чего тебе надо? – ревет ему Федор.

– А есть разговор, я кому говорю!

Федор открыл дверь, и мы увидели Ван Ваныча, который качался во все стороны, как клоун один – (Вячеславом зовут!) – когда притворяется пьяным и глупым.

– А Мишка твой, он хоть меня не сожрет?

– Скажу – и сожрет, – отвечает мой Федор. – Ты, это, давай говори: что пришел-то?

– Кончай! – забрехал тут Ван Ваныч. – Кончай! Ты думаешь, я прикрывать тебя буду? Блядине своей объясни, чтобы шла!

И тут вдруг Оксана – как вскочит!

– Блядине! Кому объяснить? Ты, дедуля, чего? А кто на Центральный косяк ночью вез?

А хочешь, я тоже шепну кому надо?

– Наезд, да? Наезд? Жуть решила нагнать? Ну, я вам тада покажу! Насмеетесь!

Ушел. Только запах остался. И всё.

Оксана заплакала.

– Лучше не надо, – она говорит. – Я, пожалуй, пойду.

– Что значит: не надо? – ревет ей мой Федор.

Она погладила меня по голове и навалилась мне на спину своей мокрой мордой. Я весь ходуном заходил: это что? Никто, кроме Федора, так и не смеет! Чтобы лапами лапать и морду валить.

– Прости, – говорит, – мы не **можем**. Ты что? Он всех же вас кормит!

– Постой! – брешет Федор. – Оксанка, постой ты!

– Чего там: постой? Мне вот-вот улетать. Как визу дадут, так и всё, – она брешет.

– Зачем ты пришла? А? Ответь мне? Зачем? Потрахаться очень хотелось, я вижу?

– Козел! – заревела она. – Ты козел! Я, может быть, жизнью рискую, а ты что? Возьмет твой Аркашка меня – и под лед! И Стиву расскажет «народную сказку»! Мол, так, Стив, и так: ну, пропала она! Давай лучше денежки делать, как раньше!

– А Стив твой, он – что? Тоже сказки читал?

– Читал, – говорит, – с Украины они. Его деда с бабкой фашисты угнали.

– Ах, с бабкой! – мой Федор ревет. – Сколько их? Его этих «бабок»? И чем они пахнут?

- Чего мне их нюхать? – Оксана ревет. – Они, если пахнут, так только духами!
- Продажная, да? – Федор мой говорит.
- Кто? Я? Я – продажная. Кто с тобой спорит? А ты? Ты ведь тоже продажный, ведь так?
- О'кей, – отвечает ей Федор, – всё так. Давай-ка вали, надоело мне что-то.
- Ты что? – говорит. – Ты ведь шутишь? Ты что?
- Зачем мне шутить? Нашутились, кончай. Мишане вон скучно. Он тоже всё шутит...
- Оксана ушла. Прямо мордой – и в дверь.
- Мишаня, – мой Федор ревет. – Хочешь в лес, а?
- Во мне сразу брюхо пошло ходуном.
- В лесу — там свобода! Ну, Миша? Решайся!

- Того гляди – лопнет всё брюхо. В нём жар.
- Не хочешь? – мой Федор ревет. – Ну, не надо!

Настя и Даша – Федора сестры, маленькие **бабы**. Когда у них мать **умерла**, стало плохо. Через год Настя ушла в школу, а после пришла и вся кровью запахла. Была вся в бинтах. Бинты Федор сразу содрал. У Насти на шкуре была одна кровь. Ей шкуру порезали. Федор кричал. Хотел ее плеткой, но тоже не **смог**. Тут Даша была, Даша очень редела. Приехал Аркадий, он им помогал.

Мне Федор однажды сказал: «Пока была мать, Аркашку мы видели только три раза. Первый раз на бабушкиных похоронах, потому что он маме денег дал, хоронить не на что было, второй – на отцовских, а третий – когда моя мать **померла**. Он сразу приехал и сразу всё сделал».

- Аркадий увидел тогда эту кровь, и Настю по морде погладил:
- Делишки! Зачем себе спину изгадила, дурь!
- Потом – на машину ее, и увез. Привез через день.
- Ты, Федя, с нее глаз не должен спускать. Она у нас колется.
- Настя перестала в школу ходить. Потом вдруг пропала. Приехал Аркадий и нам говорит:
- Сиди здесь. Найду, не волнуйся.
- Привез нашу Настю.
- Она тогда села на стул и молчит. Нарочно так села: от Даши подальше.

Это было весной, когда бабки кончились и **пронесло** нас. А летом Аркадий обеих увез. Но Настю вернули. Нам с ней тяжело. Она у нас колется. Даша – **ребенок**.

Я маленьких **баб** теперь редко вижу, потому что цирк дал нам с Федором клетку. Но в ней до меня кто-то жил. Чую я. Больной, и вонючий, и, кажется, желтый. Я видел, как шерсть выметали метлой.

Оксана ушла, и мой Федор ушел. И стало темно.

*...Куда-то меня повели. А куда? Содрали всю шерсть с задней лапы. Лапа стала белой и маленькой. Меньше, чем у Оксаны. Я лег на пол, но меня не отпустили и принялись шерсть отдирать со всех мест: с боков, с лап и с брюха. Хотели, чтоб я стал, как все: человек. А я поднял морду, увидел кого-то. Не знаю кого, но увидел, увидел! Он тоже ревел. Он хотел мне помочь. Задрать он **мог** всех, кто тогда меня му-учал!*

- Ты дрыхнешь, Мишаня?
- Мой Федор пришел. Я сразу проснулся: так Федором пахнет!
- Вставай, дело есть.

Мы с ним сразу пошли.
Мне весело стало. Мы с Федором вместе.

На нашем дворе стоял маленький автобус, меньше, чем у Ван Ваныча, а за рулем сидела **баба** с черной шерстью на голове.

Она забрехала:

– Ну, брат, ты даешь! Я думала, шутишь, а ты! Ну, прикольник! Медведя привел! Ну, давай! Прокачу! Люблю я зверей, они лучше, чем люди.

Федор втолкнул меня, сам сел рядом с ней, и мы поехали. И **баба** всё знала: куда мы хотим. Мы быстро катили.

– И долго мне ждать тебя там, у ворот? – ревет она Федору. – Ты уж быстрее!

– Ну, ясно: быстрее! Р-раз, два – и вперед!

– А Миша зачем там?

– А Миша – для смеху. Подарочек сунет.

– А где твой подарочек? – **баба** ревет.

– А здесь, – отвечает мой Федор, – здесь, в сумке.

Сумка у нас толстая, как подушка, он держит костюм в ней, мои рукавицы и много еще всяких тряпок и дел.

– Ну, ты! – **баба** брешет. – А как тебя звать?

– А Мишей, – он брешет. – Я Миша Иваныч.

– Ты – Миша? А миша? Он что, тоже – Миша?

– И он тоже Миша. Михайла Иваныч.

Она так брехала, чуть дом не снесли.

– Дела! – брешет **баба**. – Я Шура. Лады? Считай: познакомились. Очень приятно.

Тут вдруг полетела какая-то пена. Густая, как будто вверху кто-то кашлял. Я знаю, как это: так кашляет Федор, когда мы работаем. Кашляет – плюнет. Густой белой пеной, горячей, как эта.

Она становилась все гуще и гуще, и я стал дрожать от какого-то страха.

А **баба** ревет:

– Ты гляди! Вот это подарок! Чтоб снег в это время!

А, снег! Это было тогда. В **лесу** тогда было, как маму **убили**.

– Зима, – отвечает мой Федор. – Пора.

Он вытащил меня из автобуса, и мы сразу лапами – в белую пену. Тут я испугался. Не снег это! Нет. Снег был весь горячим, а этот холодный.

Оставили **бабу** в автобусе.

Увидели клетку, в которой был парень. Надутый, как шар в нашем цирке, и вонь.

– Здорово, омон, – брешет Федор. – Давай скорей пропускай: мы по делу, не просто.

– Ты что? – брешет парень. – Все спят, отдыхают. Приказано не было. Поздно для дел.

– Давай пропускай! – Федор мой заревел. – Я правила знаю! Сказал: я по делу!

– А я говорю: давай шлепай отсюда! – И мордой так двинул, и щеки раздул.

– Наставили вас, мудаков! – брешет Федор.

Тут парень достал пистолет. Это что? Пугалка такая, я знаю. Она как хлопущка, но только погромче.

Вот Неля возьмет пистолет и пугнет. А бурый ложится в песок **помирать**. Тогда Неля плачет, а бурый – ни с места. Она опять плачет, и бурый встает. Встает, весь в опилках, и пляшет кадрили.

– Считаю до трех! – этот парень ревет. – Пеняй на себя: уложу вас, и всё!
Ух, мне горячо стало в брюхе! Ух, стало! Сейчас обоссусь на всю **улицу!** Ух! Задрать его
надо, задрать – и с концами!

Но я не успел. **Баба** эта пришла.

– Сдурел! – она брешет. – Не видишь, он шутит?

– Шутник появился! – тот, в клетке, ревет.

– Пошли, – брешет **баба**, – пошли поскорей! Сынок, извини! Видишь: шутит ведь он!

– Шутки в жопе у Мишутки! – ревет этот, в клетке.

Баба схватила Федора за лапу, мы сразу полезли в автобус тогда.

А пена летела. Вверху кто-то кашлял.

Я хотел согреть Федора, тыкался ему в плечо намордником, но Федор мой был как железный, и всё. Я ткнулся тогда даже к Шуре.

– Гляди, – она брешет, – и зверь наш струхнул! Тебя, значит, любит!

– Да я без него... – ревет Федор мой и к морде моей прижимается мордой. – Да я без него как без рук. Он не зверь. Он брат мне, вот так! И вообще: лучше брата!

А Шура ему говорит:

– Расскажи!

Она ничего ведь про жизнь-то не знала! Оксану не знала, Аркадия тоже, и Дашу с Насте-
ной, и как мы все жили! Тут я заревел. Как сказать? Не **могу**

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.